

С Е Н Е К А

Знаменитые произведения выдающегося римского философа

**ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ**



Москва
2022

1(091)«652»
ББК 87.3(0)
С31

Перевод с латинского
П. Краснова, С. Янушевского, С. Соловьева

Сенека, Луций Анней.
С31 Избранные труды / Сенека ; [перевод с латинского]. – Москва : Эксмо, 2022. – 608 с. – (Философия в кармане).

ISBN 978-5-04-094770-6

Луций Анней Сенека – крупнейший римский философ, первый представитель стоицизма в Древнем мире. Особую роль в формировании взглядов философа сыграл древнегреческий мыслитель Посидоний. В свою очередь, нравственная позиция и система ценностей Сенеки оказали сильное влияние на его современников и последующие поколения.

В сборник вошли избранные «Нравственные письма к Луцилию», трагедии «Медея», «Федра», «Эдип», «Физет», «Агамемнон» и «Октавия» и философский трактат «О счастливой жизни».

УДК 1(091)«652»
ББК 87.3(0)

ISBN 978-5-04-094770-6

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022

СОДЕРЖАНИЕ



Предисловие	5
Нравственные письма к Луцилию <i>Перевод П. Краснова</i>	8
О счастливой жизни (философский трактат) <i>Перевод С. Янушевского</i>	240
Трагедии <i>Перевод С. Соловьева</i>	296
Луций Анней Сенека. Избранные афоризмы	603

ПРЕДИСЛОВИЕ



Имя римского философа Луция Аннея Сенеки (4 г. до н. э. — 65 г. н. э.) давно стало одним из символов стоицизма, хотя он не был основателем этого течения в философии.

Стоицизм родился в Афинах за три века до наступления нашей эры, а свое название получил благодаря архитектурным сооружениям, которые в Античности назывались «стоя» или «стоа»: длинная крытая галерея с рядами колонн. Их можно было использовать для разнообразных заседаний должностных лиц, для торговли и, конечно же, для философских бесед в компании единомышленников.

Стоики представляли окружающий нас мир как своеобразный организм, которым управляет логос — божественный закон. Бесплезно бороться с судьбой, бессмысленно противоречить логосу, считали они, поэтому идеалом человека должен стать спокойный, рассудительный мудрец. Но при этом стоики отнюдь не проповедовали безволие и слепое подчинение. Да, сопротивляться року невозможно. Но с достоинством пройти этот путь может

только человек с мощным внутренним стержнем. Безнравственный поступок — саморазрушение. Воздержанность — ступенька на пути к истинно свободной личности...

Произведения Сенеки — предельно откровенный и развернутый «кодекс чести» античного приверженца умеренности и стойкости. Да и сама его жизнь — это путь человека, всегда жившего в соответствии со своими идеалами. Государственный деятель, член сената, выдающийся оратор и писатель — Сенека был наставником юного Нерона и не боялся противоречить сумасбродному правителю. Увы, ученик, славившийся жестокостью, а также мнивший себя гениальным актером и поэтом, в итоге предложил Сенеке выбор — смертная казнь или самоубийство. Как истинный стоик, философ предпочел оборвать свою жизнь собственными руками.

И... кто ныне помнит произведения Нерона? А труды Сенеки пережили века и тысячелетия. И мы предлагаем вам познакомиться с избранными творениями великого мыслителя: «Нравственные письма к Луцилию», трактат «О счастливой жизни» и несколько трагедий — «Медия», «Федра» и другие.

«Нравственные письма к Луцилию» сохранились в отдельных списках, систематизировали их уже переводчики и поклонники Сенеки эпохи Средневековья и Нового времени.

Доподлинно не известно, нумеровал ли их сам Сенека и сколько их было на самом деле. Русскоязычному читателю большую их часть впервые представил в 1893 году Платон Краснов. О мотивах выбора им писем известно мало. По одной из версий, он перевел именно те, которые показались ему наиболее достоверными.

Кому адресованы «Нравственные письма»? Нам сейчас неизвестно, существовал ли Луцилий реально (есть версия, что это некий зажиточный римлянин, ученик Сенеки). Возможно, философ просто использовал для изложения своих взглядов формат писем к хорошему знакомому.

Любое произведение Сенеки разворачивает перед нами подробную картину его философии. Не только «Нравственные письма» или «О счастливой жизни», но и трагедии, основанные на античных мифах... Вопросы жизни и смерти, добра и зла, нравственного и безнравственного — философ поясняет, предлагает аргументы и приглашает к диалогу. Можно ли вести беседу с человеком, которого отделяют от нас две тысячи лет? Да. Работы Сенеки настолько увлекают и затягивают, что это уже не просто чтение, а самый настоящий диалог. Соглашаться ли с человеком, который когда-то сказал: «Если не можешь изменить мир, измени отношение к этому миру»? Решать вам...

НРАВСТВЕННЫЕ ПИСЬМА К ЛУЦИЛИЮ



Письмо I. ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ВРЕМЕНИ

Во всем отдавай себе отчет, о Луцилий, и старательно берегай время, которое до сих пор или само ускользало от тебя, или отнималось другими, или, наконец, тобою самим тратилось попусту. Поверь мне: часть времени у нас отнимают другие, часть его тратится даром, часть уходит незаметно для нас самих. И самая постыдная потеря времени та, которая происходит от нашей собственной небрежности. Вникая в дело, ты легко заметишь, что большая часть нашей жизни уходит на ошибки и дурные поступки; значительная часть протекает в бездействии и почти всегда вся жизнь в том, что мы делаем не то, что надо. А между тем много ли людей придают времени какую-либо цену, уважают и ценят свои дни, понимают, что с каждым днем они умирают? Ведь в том-то и есть наша ошибка, что мы смотрим на смерть только как на будущее событие. Большая часть смерти уже наступила: то время, что за нами, — в ее владении. Итак, о мой Луцилий, продолжай, как ты

пишешь, употреблять с пользою каждый час. Если сегодняшней день в твоих руках, меньше будешь зависеть от завтрашнего. Пока мы откладываем жизнь, она проходит.

Все, о Луцилий, не наше, а чужое; только время — наша собственность. Природа предоставила в наше владение только эту вечно текущую и непостоянную вещь, которую вдобавок может отнять у нас всякий, кто только этого захочет. Люди настолько глупы, что считают себя в долгу, если получают какой-либо подарок, как бы мал и ничтожен он ни был, хотя притом они всегда имеют еще возможность отдарить за него, и решительно ни во что не ценят чужого времени, хотя оно единственная вещь, которой нельзя возвратить обратно при всем на то желании. Ты спросишь, может быть, как же поступаю я, поучающий тебя на этот счет? Сознаюсь откровенно: я поступаю как люди расточительные, но аккуратные: веду счет своим издержкам. Не могу сказать, чтобы я ничего не терял, но всегда могу отдать себе отчет, сколько я потерял, каким образом и почему. Я могу объяснить причины моей бедности. И ко мне относятся как к людям, впавшим в нищету не по своей вине: все жалеют, но никто не помогает. Впрочем, я не могу еще считать нищим человека, которому хватает того, что у него осталось. Поэтому береги то, что у тебя есть, и примись за это заблаговременно. Недаром говорили наши предки:

поздно беречь вино, когда уже видно дно. Ведь на дне его остается не только мало, но и самый остаток — плохого качества.



Письмо II. О ЧТЕНИИ КНИГ

На основании того, что ты мне пишешь, и того, что я о тебе слышу, я возлагаю на тебя большие надежды. Ты не разбрасываешься и не мечешься, не находя себе места. Такое разбрасывание — признак больного духа. Лучшим признаком уравновешенного ума я считаю умение сосредоточиваться и терпеливо ожидать.

Смотри, однако, как бы чтение многих авторов и книг всякого рода не сделало тебя слишком поверхностным и неустойчивым. Если ты хочешь извлечь из чтения какую-либо прочную пользу, то останавливайся подолгу только на несомненных авторитетах и «питайся» исключительно ими. Тот, кто всюду, тот нигде. У людей много странствующих бывает обыкновенно много знакомых, но совсем нет друзей. То же непременно случается и с тем, кто не изучает внимательно никакого одного писателя, но прочитывает всех мельком и спеша. Нет пользы от пищи, которую желудок, едва восприняв, извергает; ничто не вредит так выздоровлению,

как частая перемена лекарств; никогда не затянется рана, если на ней пробовать разные средства; не поправляется растение, если его часто пересаживают; ничто вообще не приносит пользы, если влияет мимоходом, на лету, — такие книги в большом количестве только обременительны, раз ты не можешь прочесть столько книг, сколько их есть у тебя, то довольствуйся столькокими, сколько ты можешь прочесть. «Но, — возразишь ты, — если я хочу читать то одну книгу, то другую?» Признак расстроенного желудка — пробовать много кушаний, которые, несмотря на свое обилие и разнообразие, не питают его, а засоряют. Итак, читай всегда лучшие, признанные сочинения, а если и случится когда-нибудь просматривать другие, то все-таки вернись потом к первым. Старайся приобретать ежедневно хоть что-нибудь, чтобы обеспечить себя ввиду бедности, смерти и других бедствий. И если прочтешь что-либо, то из прочитанного усвой себе главную мысль. Так поступаю и я: из того, что я прочел, я непременно что-нибудь отмечу. Сегодня, например, я вычитал у Эпикура — так как я не гнушаюсь заходить иногда и во вражеский лагерь, не в качестве перебежчика, но в роли лазутчика, — что «почтенна веселая бедность». Впрочем, можно ли назвать бедностью такую бедность, которая весела? Кто хорошо уживается с бедностью, тот, в сущности, богат. Не тот беден, у кого мало, а тот,

кто хочет большего. Что пользы ему, что у него в сундуках много денег, в житницах много пшеницы, на лугах много скота, много денег отдано в рост, если он жаждет чужого имущества и считает не то, что уже приобрел, а то, что ему еще надо приобрести? Условий богатства, по-моему, два: во-первых, иметь необходимое и, во-вторых, довольствоваться им.



Письмо III. О ВЫБОРЕ ДРУЗЕЙ

Ты посылаешь мне свое письмо, как ты пишешь, со своим другом. А затем прибавляешь, чтобы я не сообщал ему всего касающегося тебя, потому что ты сам не делаешь этого. Таким образом, в одном и том же письме ты и назвал его другом, и отрекся от него. Если ты назвал его другом, потому что это первое слово, какое попало тебе на язык, употребил его в том ходячем смысле, в каком мы называем господином всякого встречного, если не знаем его имени, — тогда пусть так. Но если ты считаешь за друга кого-нибудь, кому веришь меньше, чем самому себе, то ты жестоко заблуждаешься и не понимаешь сущности искренней дружбы. С другом обсуждай все, но, прежде чем дружить, узнай его самого. По заключении дружбы надо верить; рассуждать же надо раньше. Весьма

беспорядочно поступают те, кто, вопреки наставлениям Теофраста, рассуждают, уже полюбив, а рассудив, перестают любить. Долго обдумывай, можешь ли ты считать кого-нибудь другом. Но раз ты найдешь, что он достоин дружбы, отдайся ему всем сердцем, и тогда говори уже с ним так же свободно, как с самим собою. Жить следует, собственно говоря, так, чтобы и можно было злейшему врагу доверить все, что у тебя на душе. Но в жизни бывают разные обстоятельства, из которых принято делать тайны. Так вот другу-то и можно доверить все заботы, все помыслы. Если ты считаешь его преданным, то и обращай с ним, как с таковым. Кто боится обмана, тот учит ему, и самим подозрением дает право на любое коварство. Перед другом не следует утаивать ни единой мысли; надо в его присутствии считать себя в обществе самого себя.

Есть такие люди, что рассказывают первому встречному то, что можно доверять одним друзьям, и выгружают тайный груз души своей в любые уши. Другие, напротив, страшатся довериться даже самым близким, и если бы могли, то, не доверяя самим себе, спрятали бы всякий секрет как можно глубже. Не следует делать ни того ни другого. Обе эти крайности — и доверять всем, и не верить никому — одинаково дурны: только одна благороднее, другая безопаснее. Точно так же есть люди вечно беспокойные,

и, напротив, есть люди ко всему равнодушные. Но наслаждение тревогами жизни не есть деятельность: это только трепет взволнованной души. С другой стороны, состояние, при котором всякое движение в тягость, не есть покой, а только расслабленность и усталость. Раздумывая об этом, полезно иметь в виду стих Помпония:

*Они запрятались в такую нору,
Что, где светло, – им чудится тревога.*

Отдых и работа должны сопутствовать друг другу: тот, кто отдохнул, должен работать, а тот, кто трудился, может отдыхать. Этому учит нас и природа, сотворившая и день и ночь.



Письмо IV. О СТРАХЕ СМЕРТИ

Продолжай, что начал, и торопись: чем скорее усовершенствуешь и разовьешь свою душу, тем дольше будешь наслаждаться. Правда, есть наслаждение и в самом процессе совершенствования и развития. Но гораздо высшее наслаждение заключается в самосознании ума, свободно от всяких слабостей и блещущего чистотою. Ты помнишь, какую радость ты ощутил, когда, сняв детское платье, надел тогу мужчины и в ней явился на форум. Еще большая радость ожидает

тебя, когда ты отбросишь свой детский ум и философия впишет тебя в число мужей. До тех же пор твоя мысль находится в детском, и даже еще хуже, в ребяческом возрасте. Нет ничего хуже, как, будучи внушительным старцем, сохранять несовершенства детей, и притом маленьких детей. Старики боятся легкомысленного; дети боятся пустяков, а такие люди — и того и другого. Заметь себе, всего менее следует бояться того, что обыкновенно внушает наибольший страх (то есть смерти). Под конец не бывает ничего значительного. Приходит смерть: ее можно было бы бояться, если бы она осталась с тобою. Но неизбежно она или не наступит, или свершится. «Трудно, — возразишь ты, — довести ум до презрения жизни». Неужели ты не замечал, как часто это презрение порождается ничтожнейшими причинами? Один повесился у дверей своей милой; другой бросился с крыши, чтобы не слушать более брани своего господина; третий распорол себе живот, чтобы его не вернули из бегов. Так неужели же доблесть не сделает для человека того, что так легко делает чрезмерный страх? Безмятежная жизнь не выпадает на долю никому из тех, кто слишком заботится о ее продлении, кто между прочими благами жизни считает за благо долголетие. Чтобы равнодушнее смотреть на жизнь и смерть, думай каждый день о том, сколь многие цепляются за жизнь совершенно так, как цепляются за колючие терния

утопающие в быстром течении реки. Сколь многие колеблются между страхом смерти и мучением жизни: и жить не хотят, и умереть не умеют. Чтобы жизнь была приятна, надо отложить все попечения о ней. Разве может радовать человека обладание вещью, утратив которую он будет безутешен? Напротив, совсем не тяжело потерять такую вещь, по утрате которой вторично ее не пожелаешь. Потому приготовься к превратностям судьбы и смотри хладнокровно на них: они случаются даже с самыми сильными. Приговор Помпею произнесли сирота и евнух; Крассу — жестокий и несносный парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду отрубить голову трибуну Декстру, а сам пал от руки Херея. Никого еще судьба не возносила так высоко, чтобы ему не угрожало то, что он сам себе позволял относительно других. Не доверяй затишью: в одно мгновение море может взволноваться. Корабли тонут иногда в тот самый день, в который они красовались на глади вод. Вспомни, что и разбойник, и враг всегда могут занести над тобой меч. Не надо даже никаких особых обстоятельств; твоя жизнь и смерть находятся в зависимости от прихоти любого раба. Ведай, кто презирает свою жизнь, владеет твоею. Припомни, сколько людей погибли от руки своих слуг, сраженные открытым насилием или тайною хитростью. Право, не меньше людей погибло от рук своих рабов, чем по прихоти царей.

Что же думать о том, как силен тот, кого ты боишься, если то, за что ты боишься, во власти всякого? Положим даже, что ты попадешь в руки своего врага и он в качестве победителя приговорит тебя к смерти. И что же? Ты придешь именно к тому концу, к которому шел всю жизнь. Зачем обманывать себя и только теперь замечать факт, с которым давно уже следовало примириться? Верь мне — ты неизбежно умрешь уже в силу того, что ты родился. В этом роде должны мы рассуждать, если хотим спокойно и твердо встретить последний час, страх перед которым делает мучительными остальные часы нашей жизни.

Чтобы кончить письмо, сообщу тебе изречение, встреченное мною во вражеских вертоградах и понравившееся мне: «Бедность, согласующаяся с законами природы, в сущности, большое богатство». Природа, как известно, установила для нас следующие потребности: не голодать, не чувствовать жажды и не зябнуть. А для того чтобы утолять голод и жажду, нет необходимости сидеть в приемных разных гордецов и выносить их тяжелую заносчивость или презрительную снисходительность; нет необходимости плавать по морям или нести тяготы военной службы. Необходимое всегда легко приобрести. И только для избытков приходится трудиться в поте лица. Из-за них-то изнашивается парадное платье, из-за них наступает

преждевременная старость в военных походах, из-за них стремятся в чужие страны. А между тем под рукою у нас есть все, что нужно.



Письмо V. О ФИЛОСОФСКОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ

Хвалю тебя и радуюсь, что ты, оставив все прочее, предался делу самосовершенствования. Я не только советую, но даже прошу: не оставляй этого дела. Но предостерегаю тебя: не поступай подобно тем, кто хочет не столько быть чем-либо, сколько казаться; не делай ничего такого, что заставило бы говорить о твоей внешности и твоём образе жизни. Не ходи с неумытым лицом, непричесанными волосами и небритой бородой; не подчеркивай презрения к деньгам; не хвались постелью, устроенною на голой земле, и вообще ничем таким, за чем гонится извращенное честолюбие. Само имя философии, хотя бы она даже и скромно пропагандировалась, достаточно ненавистно. Что же будет, если мы еще станем выделяться среди других людей странными привычками? Пусть в душе мы будем вполне несходны с толпой, но по наружности ничем не надо от нее отличаться. Не надо блистать своим платьем, но зачем носить его грязным?

Не будем приобретать серебряной утвари, щедро украшенной золотыми узорами, но не будем считать за неперменное условие умеренности лишение золота и серебра. Будем заботиться о том, чтобы вести лучшую жизнь, чем толпа, но не противоположную ей. Иначе мы оттолкнем и отвратим от себя тех, кого хотим исправить, и добьемся того, что нам не захотят подражать ни в чем из боязни, что придется подражать во всем. Философия, прежде всего, проповедует здравый смысл, общительность и человечность. Резкое отличие от толпы противоречит этим целям. Надо заботиться поэтому, чтобы не казалось смешным и противным то, посредством чего мы хотим добиться восхищения. Ведь наша цель — жить соответственно с природой. Уродовать же тело, ненавидеть самую необходимую опрятность, жить в грязи и есть не питательную и вкусную пищу, а противную и тошнотворную, — значит поступать против природы. Насколько можно считать роскошью стремление к изысканным вещам, настолько глупо избегать обычных и общепринятых удобств. Философия проповедует: умеренность, но не самоистязание; умеренность же вполне совместима с опрятностью. Тут надо знать меру. Наша жизнь должна сообразоваться как с требованиями нравственности, так и с требованиями общественности. Пусть удивляются нашему образу жизни,

но пусть признают его правильным. «Итак, что же, мы должны жить как все? И не должно быть никакой разницы между нами и толпою?» Непременно. Тот, кто узнает нас ближе, увидит, что мы не похожи на толпу. Но, войдя в наш дом, пусть дивятся не обстановке, а нам самим. Если есть величие в том, чтобы из глиняной посуды есть с таким достоинством, как и из серебряной, то не меньше его и в том, чтобы смотреть на серебро так же равнодушно, как на глину. Только узкий ум не может примириться с богатством.

По заведенному обыкновению, сообщая попавшийся мне сегодня у Гекатона афоризм на тему, что ничего не желать — верное средство против страха. «Перестанешь бояться, — говорит он, — если перестанешь надеяться». Но, возразишь ты, что же общего между такими разнородными вещами? Да, мой Луцилий, как ни различны они на первый взгляд, они тесно связаны. Между этими, по-видимому, столь несходными чувствами существует связь, подобная той, которая связывает часового с остальными солдатами. Страх стережет надежду. И в этом нет ничего странного. Оба чувства — результат напряжения нервов, оба вызываются ожиданием будущего. Основная причина обоих чувств в том, что мы не довольствуемся настоящим, но направляем наши помыслы на будущее. Таким-то образом предусмотрительность,

в которой наилучший залог человеческого благополучия, способна обращаться во зло. Животные бегут от опасности, но только избегают ее, успокаиваются; мы же, люди, мучимся и настоящими, и прошедшими. Так, многие блага, дарованные нам природой, обращаются нам во вред. Память возобновляет мучения страха; предусмотрительность заставляет предвкушать их. Нет такого человека, который страдал бы только через настоящее.



Письмо VI. ОБ ИСТИННОЙ ДРУЖБЕ

Я замечаю, о Луцилий, что не только исправляюсь, но и изменяюсь. Я не надеюсь, правда, и не обещаю, что во мне не останется ничего, нуждающегося в перемене, да почему же бы не иметь даже и много такого, что следует исправить, дополнить или смягчить? Уже и то ясный признак совершенствования, если замечаешь в себе недостатки, о которых прежде и не подозревал. Для многих больных много значит уже сознание своей болезни. Я хотел бы поделиться с тобою всеми этими быстрыми переменами. Это было бы лучшим доказательством нашей дружбы, той истинной дружбы, которой не разрушит ни страх, ни надежда, ни забота о личном благе, той дружбы, ради которой и с которою

люди идут на смерть. Сколь многие лишены не друзей, а именно дружбы! Но в ней не будет недостатка у тех, чьи души соединяет одинаковое влечение к истине и добру. И потому именно не будет недостатка, что у таких людей все общее, начиная с самих недостатков. Трудно даже представить себе, сколько пользы извлекал я из каждого отдельного дня. «Сообщи же мне, — скажешь ты, — эти средства, оказавшиеся столь живительными». Я страстно хочу рассказать тебе о них, и отчасти рад потому, что узнал их, что могу научить тебя. Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое полезное, если только я один буду это знать. Если бы мне предложили высшую мудрость под непременным условием, чтобы я молчал о ней, я бы отказался. Неприятно, обладая чем-либо, ни с кем не делиться. Потому посылаю тебе свои книги. Чтобы избавить тебя от труда самому отыскивать в них полезные места, перелистывая страницы, я сделал заметки, по которым ты сразу найдешь все то, что мне нравится и приводит меня в восхищение. Конечно, ты извлек бы более пользы из совместной жизни со мной и через живую речь, чем через письма. Следует все видеть самому, во-первых, потому что вообще легче верить глазам, чем ушам, а во-вторых, потому что путем поучений цель достигается медленнее, чем с помощью примеров. Клеант не мог бы так живо рассказать про Зенона,

если бы только слушал его; но он жил вместе с ним, знал его тайны, наблюдал, действительно ли он согласует свою жизнь со своим учением. Платон и Аристотель и весь сонм других философов гораздо больше извлекли из жизни Сократа, чем из его слов. Митродор, Гермарх и Полиэй стали великими людьми не вследствие поучений Эпикура, но вследствие жизни с ним. Впрочем, я зову тебя не столько ради того, чтобы поучать тебя, сколько для своей собственной пользы. Мы во многом можем помочь один другому.

А пока вот тебе моя ежедневная дань — изречение Гекатона, которое, по моему, весьма замечательно. «Ты спрашиваешь, — пишет он, — чего я добился? Я стал сам себе другом». И он в самом деле многого достиг. Он никогда не будет одинок. Знай, кто друг себе — друг всем людям.



Письмо VII. УДАЛЯЙСЯ ОТ ТОЛПЫ

Ты спрашиваешь, чего, по моему мнению, следует избегать? Толпы. Невозможно смешиваться с нею без вреда для себя. Я, по крайней мере, сознаю свою слабость. Никогда не возвращаюсь я с такою же чистою душою, с какою вышел к толпе. Все, что только что улеглось, снова возмутится. Порок, от которого я было

исправился, возвращается. Словом, повторяется то же, что бывает с больными, ослабевшими до такой степени, что для них уже все вредно. Но ведь наши души именно такие больные, медленно оправляющиеся от своей болезни. Вступать в сношения с толпой вредно. Каждый человек привьет нам хоть частицу своих пороков: или научит им, или заразит ими. И чем больше количество людей, тем больше опасности. А всего пагубнее для нравственности театр; тут порок прививается тем легче, что он нравится. Сознаюсь тебе, что, побывав в обществе, я возвращаюсь скупее, честолюбивее, сластолюбивее, даже жестче и бесчеловечнее. Как-то зашел я на полуденный спектакль, рассчитывая посмотреть игры, шутки и вообще что-нибудь веселое, что дается, чтобы глаза зрителей могли отдохнуть от человеческой крови. Но вышло наоборот. Тот бой, который происходил раньше, гораздо милосерднее. Тогда же, когда пришел я, происходило уже голое человекоубийство без всяких прикрас. У бойцов не было ничего для отражения ударов. Все тело их было открыто для взаимных ударов, и ни один взмах их рук не миновал цели. Между тем громадное большинство предпочитает такую бойню обыкновенным поединкам и гладиаторским боям. И ее предпочитают потому, что здесь нельзя отразить удара шлемом или щитом. Зачем, в самом деле, доспехи, зачем искусство? Все это

только задержка для смерти. По утрам людей бросают на растерзание львам и медведям, среди дня — зрителям. Победителям приказывают умерщвлять побежденных, а затем опять посылают их в бой: у всех сражающихся, таким образом, один конец — смерть. Дело ведется огнем и мечом и продолжается, пока арена не останется пустою. Но, скажут мне, ведь это разбойники. Чего же они заслуживают, кроме виселицы? Ведь вот, например, этот — убийца. Если он убийца, то он, конечно, заслужил смерть, но ты сам чем заслужил то, что должен смотреть на все это?!

*Убивай, бей, жги! Чего он так трусит, нападая?
Он недостаточно храбр! Зачем он так вяло идет
на смерть?
И несчастного гонят на смерть ударами бичей.
Пусть сражаются все вместе, обнажив свою грудь
для ударов!
Зрелище наконец прерывается.
Так пусть в промежутке убивают людей, чтобы было
на что смотреть!*

И неужели не понимают эти зрители, что их дурной пример обратится на них же! Благодарите бессмертных богов за то, что вы не научите быть жестоким того, кто не способен научиться этому.

Необходимо устранять от народа всякий нежный ум, еще не способный неуклонно следовать правде. От мелких ошибок легко

перейти к крупным порокам. Развращенная толпа способна испортить даже Сократа, Катона и Лелия, до того бессилён всякий из нас, как бы ни был развит его ум, противиться напору пороков, являющихся в таком множестве. Один пример роскоши и скупости может принести громадное зло. Изнеженный сожитель мало-помалу развратит и приучит к роскоши самих нас; богатый сосед возбудит зависть; грубый спутник даже невинному и бесхитрому придаст хоть немного своей грубости. Что же будет с твоим характером, если ему придется подвергнуться влиянию целой массы пороков? Очевидно, ты станешь или подражать им, или ненавидеть, а между тем и то и другое нехорошо. Ты не должен ни стараться походить на других из-за того, что их много; ни делаться врагом многим оттого, что они не похожи на тебя. Углубляйся в себя сколько можешь; ищи общества тех, кто может сделать тебя лучше; допускай в свое общество тех, кого ты сам можешь сделать лучше. Совершенствование происходит взаимно, и люди учатся, уча сами. Незачем, однако, ради распространения своих мыслей читать лекции толпе. Это можно делать лишь в том случае, если есть подходящий материал для публичных лекций; но теперь никого нет, кто бы понял тебя. Найдется один-другой способный к развитию, но и его еще придется подготавливать и предварительно

воспитывать, чтобы он мог сразу понимать тебя. «Для кого же я учился?» — возразишь ты. Не считай даром потраченным время, если ты выучился для себя.

Но чтобы мне самому сегодня не учиться только для себя, сообщу тебе три понравившихся мне прекрасных изречения — почти на тему моего письма. Одно из них прими как должное за это письмо, два других возьми в задаток для будущих писем. Демокрит пишет: «Для меня один человек может заменить целый народ, и целый народ для меня только одно лицо». Хорошо ответил и другой философ, кто бы он ни был, потому что насчет принадлежности изречения тому или другому автору существуют разные мнения. Когда у него спросили, зачем он с таким прилежанием занимается искусством, доступным столь немногим: «Я удовлетворюсь, — сказал он, — немногими, пожалуй, одним, и даже совсем никем». Хорошо выразился и Эпикур в письме к одному из своих учеников: «Я пишу это не для всех, но для тебя одного: мы достаточно большая аудитория друг для друга». Эти изречения полезно, о мой Луцилий, хранить в своем сердце, чтобы презирать то наслаждение, которое испытывается при одобрении большого числа людей. Многие тебя хвалят; но какая честь в том, что тебя может понять всякий? Твои сокровища должны быть сокрыты внутри тебя.



Письмо VIII. О НЕДОВЕРИИ К СЧАСТЬЮ

«Ты советуешь мне, — пишешь ты, — избегать общества, уединяться и жить согласно внутреннему своей совести. При чем же ваши наставления, по которым следовало умереть за делом?» Но именно ради этого дела я и удалился сюда, и затворился от всех, чтобы возможно больше принести пользы. Ни один день не проходит у меня в бездействии. Я посвящаю занятиям даже часть ночей. Я не отказываюсь от сна совсем, но борюсь с ним и напрягаю для занятий глаза, уже утомленные от бодрствования и слипающиеся от сна. Я скрылся, впрочем, не столько от людей, сколько от мирских дел, и прежде всего от моих собственных. Я занимаюсь делами потомства и пишу нечто, что будет полезно для него. Я вверяю бумаге спасительные увещания как рецепты полезных лекарств, испытываю их целительную силу на моих собственных ранах, которые хотя и не совсем еще зажили, но, по крайней мере, закрылись. Я указываю другим истинный путь, который я сам нашел поздно, уже утомленный блужданием, и кричу: «Бегите того, что нравится черни, что достается по случайности. Относитесь ко всякому дару судьбы подозрительно и с робостью. Ведь и зверь, и рыба попадают в западню, влекомые

обманчивую надеждой. За тем, что вы считаете дарами счастья, кроется засада. Кто хочет остаться невредимым, пусть избегает сколько возможно этих даров, служащих приманкой. На них-то мы, несчастные, и ловимся чаще всего. Мы думаем, что захватили их в свои руки, а на деле оказывается, что мы сами попали в западню. Счастливый путь ведет к стремнинам, и конец блестящей жизни — падение. А между тем трудно противиться, раз счастье увлекло на ложный путь. Потому или будь всегда тверд, или порви с ним сразу. Судьба не направляет, но опрокидывает и топит. Ведите здоровый образ жизни, заботьтесь о теле, лишь насколько это необходимо для здоровья. Надо быть суровым к плоти, чтобы она повиновалась духу. Пусть пища только умеряет голод, питье — жажду, одежда — холод и жилище служит защитой тела от непогоды. Но решительно безразлично, построено ли оно из дерна или из цветного, чужеземного камня: знайте, что человек одинаково может укрыться как под соломой, так и под золотом. Презирайте всякие украшения, достигающиеся непосильным трудом. Помните, что нет ничего достойного восхищения, кроме души, а для ее величия ничто недостаточно велико.

Когда я рассуждаю таким образом теперь сам с собою, а после с грядущими поколениями, не находишь ли ты, что я приношу больше пользы, чем если бы я занялся адвокатурой или

нотариальным засвидетельствованием завещаний, или продавал бы свой голос и влияние кандидатам, заседаая в сенате? Верь мне, что тот, кто кажется бездельником, на деле часто делает слишком много: и божеское, и человеческое.

Но пора кончить и, по обыкновению, надо приложить нечто к концу письма. И это нечто не должно быть моим. Все это время я читаю Эпикура, потому и приведу сегодня изречение из его сочинений: «Чтобы достигнуть истинной свободы, надо служить философии». Кто ей отдался и подчинился, тот не будет зависеть от случайных обстоятельств времени и тотчас выйдет на волю. Ведь самое служение философии есть истинная свобода. Пожалуй, ты меня спросишь, почему я нахожу столько хороших изречений у Эпикура, а не у наших? Но зачем называть эти изречения Эпикуровыми, а не общефилософскими? Сколько поэтов говорят о том, что сказано или что могло быть сказано философами! Я не говорю уже о трагиках и о представителях нашей национальной драмы. В их сочинениях, занимающих середину между комедией и трагедией, все же очень много серьезного. Но сколько остроумнейших стихов попадает в наших мимах! Даже у Публия есть много такого, что достойно быть сказанным не перед чернью, но перед избранными судьями. Я приведу здесь один его стих, принадлежащий к особенно философским и относящийся

к тому вопросу, о котором я только что писал. Он отрицает в нем нашу власть над случайными дарами судьбы:

Что дала тебе судьба, то не твое.

Я помню, что эту же мысль ты выразил несколько лучше и яснее так:

Не тебе принадлежит то, что счастье делает твоим.

Еще лучше сказано то же самое тобою же в другом месте:

Дар, который мог быть подарен, может быть и отнят.

Но эти стихи не идут уже в наш счет: я заимствовал их у тебя же.



Письмо XII. О ПРЕИМУЩЕСТВАХ СТАРОСТИ

Куда я ни обращусь, всюду вижу признаки моей старости. Приехал я в мою загородную виллу и остался недоволен тем, что поддержание ее дорого стоило. На мои жалобы управляющий возразил, что он в этом не виноват, что он со своей стороны принимал все меры, но что сама вилла стара. А вилла эта построена на моих глазах. Чем в самом деле стал я, если рассыпаются камни одних лет со мною? Рассердившись на управляющего, я стал искать случая, чтобы придраться

к чему-нибудь. «Очевидно, — сказал я, — что за этими платанами не смотрят. Их зелень жидка, ветви искривлены и узловаты, стволы черны и неравны. Ничего бы этого не было, если бы их окапывали и поливали как следует». Тут управляющий стал клясться, что он все это делал, не жалел на это никаких трудов, но что деревья стары. А между тем я сам посадил их и видел их первые листья. Взглянув на двери дома, я воскликнул: «А это что за расслабленный старик? Недаром он стоит в дверях: его пора выгнать из дому. Где ты выискал такого? И что тебе за охота таскать чужих мертвецов?» Но старик этот сказал мне: «Неужели ты не узнал меня? Ведь я Фелицио, тот самый Фелицио, которому ты дарил статуэтки богов. Я сын твоего управляющего Филозита и был твоим любимцем». «Что он врет? — вскричал я. — Моим любимцем был мальчик, да иначе и быть не могло. А у этого повываливались все зубы».

Итак, посещением своей загородной виллы я обязан тем, что старость предстала предо мною всюду, куда я ни обращался. Что ж, удовольствуемся ею и полюбим ее! И она полна наслаждений, если только уметь ею пользоваться. Яблоки всего вкуснее в то время, когда они уже проходят. Детство всего прекраснее на исходе. Пьяницам наибольшее наслаждение доставляет последняя чаша, та, которая окончательно

опьяняет их. Вообще, всякое наслаждение достигает высшей силы в последний момент. Потому и из возрастов самым приятным должен считаться старческий, а не зрелый. И я утверждаю, что в старости, стоящей на границе бытия, есть свои наслаждения, или, по крайней мере, их вполне может заменить то, что у нее нет потребности в них. О, как приятно, устав от страстей, наконец освободиться от них! «Но, — возразишь ты, — тяжело иметь смерть перед глазами». Но, во-первых, юноша должен ждать смерти не меньше, чем старик. Ведь мы не знаем, когда придет наш час. Во-вторых, нет такого старика, который бы не имел оснований надеяться, что он проживет еще один день. А между тем каждый день — это шаг жизни.

Нашу жизнь мы можем представить себе как ряд кругов, обнимающих друг друга: один из них заключает в себе все остальные: он простирается от дня рождения до дня кончины. Другой заключает в себе все юношеские годы; третий — все детство и так далее. Наконец, есть круги, содержащие в себе отдельные годы, заключающие, каждый в себе, четыре времени года, через повторение которых слагается вся жизнь. Каждый месяц окружен своим маленьким кругом. Наконец, самые маленькие круги содержат в себе по одному дню, но и здесь каждый имеет начало и конец, исходную точку и конечную. Гераклит, прозванный Темным

за туманность своего изложения, говорил, что «все дни одинаковы». Это изречение толкуют различно. Одни говорят, что он хотел сказать этим, что день равен дню по числу часов. И в самом деле, если день есть промежуток времени, равный двадцати четырем часам, то очевидно, что все дни равны между собою, потому что насколько увеличится ночь, настолько уменьшится день. Другие говорят, что Гераклит хотел указать на качественное сходство дней между собою; в самом деле, никакой более длинный промежуток времени не имеет таких свойств, каких не было бы в одном дне: света и тьмы, и других изменений в природе. В больший промежуток времени явления эти только повторятся чаще: одних будет больше, других меньше, но нового не может быть ничего. Поэтому каждый день следует проводить таким образом, как будто он представляет из себя нечто цельное и наполняет и исчерпывает целую жизнь. Пакувий, управлявший Сирией, как будто она была его поместьем, готовил себе каждый день роскошный поминальный ужин и, напившись, приказывал относить себя из-за стола в спальню при пении хора мальчиков: «Он прожил, он прожил!» Таким образом он хоронил себя каждый день. Вот это, что он делал из распутства, мы будем делать с полным сознанием и, отходя ко сну, будем повторять радостно и весело:

*Кончена жизнь! Я путь совершил, мне судьбой
дарованный.*

Если же боги пошлют нам и следующий день, примем его с благодарностью. Тот, кто ожидает завтрашнего дня без волнения, счастливо и мирно владеет сегодняшним. Кто говорит себе: я прожил свое, — для того каждый новый день составляет чистую прибыль.

Но пора закончить письмо. «Как, — скажешь ты, — на этот раз я должен обойтись без изречения?» Не бойся, кое-что ты получишь и сегодня. Впрочем, что же я говорю «кое-что». Очень много. В самом деле, что может быть лучше следующего изречения: «Тяжело жить в крайности, но нет никакой крайности жить в крайности». Почему же нет крайности? Да потому что для того, чтобы выйти из нее, существует множество и притом весьма легких способов. Возблагодарим Бога за то, что никто не может заставить нас насильно жить: можно презирать самую крайность. Но ты недоволен. «Это изречение Эпикура. Что тебе за охота цитировать своих противников?» — говоришь ты. Что истина — то мое. Я буду продолжать свои цитаты из Эпикура, чтобы те, кто верит в авторитеты и ценит мысли не по тому, что в них выражено, но по тому, кто их высказывает, поняли, что истина, кем бы ни была она высказана, одна для всех.



Письмо XVII. О ПРЕЗРЕНИИ К БОГАТСТВУ

Отложи все житейское, если ты мудр, если же еще нет, то для того чтобы стать мудрым, и стремись изо всех сил и всеми средствами к совершенствованию. Старайся избавиться от всего, что задерживает тебя на этом пути. «Мне мешает, — говоришь ты, — забота о моем имуществе, и я хочу так устроить его, чтобы доходы с него обеспечивали мне покойную жизнь, без хлопот, и чтобы в то же время мне не пришлось страдать от бедности или быть кому-нибудь обузой». Если ты так говоришь, то ясно, что ты не постиг всей силы и могущества того блага, о котором идет речь, ясно, что в общем ты представляешь себе пользу философии, но недостаточно еще вникнул в частности и еще не знаешь, как поддерживает она нас во всем, как, говоря словами Цицерона, помогает она нам в важных случаях жизни и в то же время применима и к самым ничтожным событиям. Послушай меня и призови ее на помощь: она убеждает тебя, что не следует сидеть над счетами. Ведь, отсрочивая свои занятия, ты хочешь достигнуть только того, чтобы тебе не угрожала бедность. Но зачем же это, если к бедности-то и следует стремиться? Богатство многим мешало заниматься философией; бедность же для

этой цели весьма удобна и покойна. Когда раздается призывный военный сигнал, она знает, что он относится не к ней. Когда на улицах мятеж, бедность заботится только о том, как бы ей уйти самой, а не о том, что ей унести с собою. Если она едет в плавание, гавань не переполняется шумом и на берегах не стоит толпа провожающих. Она не окружена многочисленными рабами, для прокормления которых необходимы урожаи заморских стран. Насытить тощий и здоровый желудок, нуждающийся лишь в утолении голода, нетрудно. Голод довольствуется немногим; разнообразие блюд — результат скуки. Бедность довольствуется удовлетворением насущных потребностей. Так почему же ты не хочешь взять себе в спутницы ту, нравам которой подражает здравомыслящий богач? Если хочешь свободы духа, должен быть бедным, или, по крайней мере, похожим на бедного. Никакие занятия не будут плодотворны при неумеренном образе жизни. Умеренность же и есть добровольная бедность. Оставь поэтому пустые отговорки: «У меня еще нет достаточных средств. Когда я приобрету известную сумму денег, то я весь отдамся философии». Нет, надо сначала приготовить себе именно то, что ты хочешь отложить на конец, а потом уже можно заботиться об остальном. Именно с философии-то и нужно начать. «Я хочу, — говоришь ты, — приготовить средства для жизни». Но вместе с тем

надо приготовить и самого себя, ведь если что и мешает тебе хорошо жить, то ничто не мешает хорошо умереть. Верь, что не только бедность, но и сама нужда не может служить помехой для философии. Те, кто стремится к ней, должны бы легче терпеть голод, чем осажденные в крепости. Ведь единственной наградой этих последних будет то, что они не попадут в руки победителя. Насколько же больше этого дает философия, ведущая за собою вечную свободу и бесстрашие перед людьми и богами: итак, стремись к ней, хотя бы из-за нее пришлось голодать. Войска терпят бедствия всякого рода; питаются дикими кореньями, а часто испытывают неопиcуемый голод. И все это лишь для того, чтобы завоевать царство, и что притом всего удивительнее, чужое царство! Можно ли после этого задумываться над бедностью, имея в виду освободить душу от вечного страха? Не заботься же о предварительном приобретении имущества: к философии можно прибыть без всяких путевых издержек.

Ты рассуждаешь так: «Когда у меня будет все, что мне надо, тогда приобрету себе и философию». Таким образом, выходит, что она у тебя самая последняя вещь в жизни, так сказать, прибавление к прочим удобствам. Нет, занимаясь философией, если у тебя есть хоть какие-нибудь средства: почему ты знаешь, быть может, у тебя есть даже лишнее? Но если у тебя даже

и ничего нет, то и тогда все-таки прежде всего добивайся мудрости. «Ну а если нет даже самого необходимого?» Этого не может быть; потому-то природа требует весьма немногого. Мудрец же согласует свою жизнь с природою. Но если бы он впал в крайнюю нужду, он тотчас перестал бы быть себе в тягость. А раз у него есть достаток, хотя бы скудный и жалкий, но на который он может жить, мудрец уже и его сочтет за благо и, забываясь только о самом необходимом, сократит свои потребности в еде и одежде и, довольный своей судьбой, будет осмеивать труды богачей и ухищрения ищущих богатства, говоря: «Зачем ты откладываешь свою жизнь? Ждешь ли, чтобы выросли проценты, или ожидаешь торговой прибыли или наследства от богатого родственника, надеясь сразу разбогатеть? К чему? Мудрость заключает в себе истинное богатство, которым награждает всякого». Впрочем, все это относится до других людей; ты же можешь считаться богатым: для прежнего времени у тебя было бы даже слишком много. Того же, что достаточно теперь, будет достаточно и во всякое время.

Я кончил бы этим свое письмо, если бы не избаловал тебя раньше. Парфянских царей нельзя приветствовать без подарка — с тобой нельзя без подарка прощаться. Что же дать тебе? Возьму опять у Эпикура мысль, похожую на приведенную раньше: «Разбогатеть — не значит положить конец бедствиям, но только променять их

на другие». В этом нет ничего странного. Ведь корень зла не в вещах, но в душе. То, что делало для нас тягостною бедность, сделает нам в тягость и богатство. Не все ли равно, на какую постель положить больного, на золотую или на деревянную. На какую бы ты ни положил его, положишь с ним вместе и болезнь его. Поэтому совершенно все равно, богато или бедно живет тот, кто болен духом. Его бедствие во всяком случае будет при нем.



Письмо XVIII. О РАЗВЛЕЧЕНИЯХ МУДРЕЦА

Декабрь месяц. Во всем городе особенная суета. Как будто особым законом установлена общественная роскошь. Повсюду идут приготовления к празднику, точно дни сатурналий существенно отличаются от остальных дней в году. А ведь на самом деле между ними нет никакой разницы, и я даже думаю, что прав тот, кто сказал, что теперь декабрь месяц продолжается целый год.

Если бы ты был со мною, я бы охотно поговорил с тобой, что нам теперь делать — оставить ли в полной неизблемости ежедневный строй жизни, или, для того чтобы не выделяться из общей массы, надеть праздничное платье и отужинать повеселее. В наше время принято

в ознаменовании праздника надевать особое платье, подобно тому, как прежде его носили в печальные времена общественных несчастий. Насколько я тебя понимаю, ты предпочел бы роль зрителя, и, таким образом, мы не были бы похожи на разряженную толпу, но в то же время не резко выделялись бы из нее. В эти дни приходится обнаруживать особое присутствие духа, чтобы одному воздерживаться от всяких удовольствий, когда им предается вся масса народу. Лучшее доказательство твердости духа состояло бы в том, чтобы не позволить увлечь себя в общий поток наслаждений и роскоши. Для этого надо гораздо больше силы характера, чем для того, чтобы оставаться трезвым в пьяной компании. Нужна гораздо большая воздержанность для того, чтобы не выделяться из толпы, не смешиваясь в то же время с ней, и делать то же, что и все, но на другой лад, ведь сатурналии можно отпраздновать без всяких увеселений.

Но мне до того хочется испытать твердость твоего характера, что, по примеру великих философов, я предложу тебе в течение нескольких дней питаться возможно скудной и невкусной пищей и носить простую и грубую одежду, и (я уверен) ты скажешь после этого: так этого-то я мог бояться?! Среди полного довольства приготавлийся к лишениям и, окруженный богатством, укрепишься против превратностей судьбы. Солдат и в мирное время марширует, роет укрепления

и переносит всевозможные труды для того, чтобы уметь переносить их, когда придет к тому необходимость. Если не хочешь бояться наступления какого-либо бедствия, приучайся к нему заранее. Так приучаются иные к бедности, ведя в течение многих месяцев нищенский образ жизни; после этого им нечего уже бояться бедности, так как они привыкли к ней. Я, впрочем, не советую подражать в обеде Тимону и запираяться в каморке для рабов и вообще делать что-либо из того, что измыслила роскошь, пресытившись богатством. Но пусть у тебя будет жесткая постель, грубое платье и черствый хлеб. В такой обстановке живи по три, по четыре, иногда по несколько дней, для того чтобы это не было пустою забавой, но настоящим опытом. Тогда, поверь мне, о Луцилий, ты будешь счастлив сознанием того, что можешь быть сыт на два асса, и поймешь, что для спокойствия души не надо богатства. Удовлетворять своим первым потребностям удается даже самым несчастным людям.

Не думай, впрочем, что, поступая так, ты будешь делать что-либо особенное. Ты будешь жить так, как живут многие тысячи рабов и бедняков. Но зато ты будешь вести такой образ жизни по своей воле, и раз ты привыкнешь к нему, тебе нетрудно будет вести его и в других обстоятельствах. Итак, будем упражняться и, чтобы судьба не застала нас врасплох, освоимся с бедностью. Мы будем равнодушнее к богатству, если

убедимся в том, что и бедным быть не тяжело. Сам учитель наслаждений, Эпикур, в течение нескольких дней не вполне удовлетворял свой голод, чтобы узнать, чувствительно ли неполное удовлетворение этой потребности и насколько чувствительно и стоит ли для удовлетворения ее усиленно трудиться. Эпикур рассказывает об этом в тех письмах, которые адресованы Харину в год архонства Полиэна, и хвастает, что он проживает в сутки менее одного асса; Митродор же, не достигнув еще такой степени умеренности, тратит в сутки целый асс. Ты не веришь, что можно быть сытым на такие деньги? Но на них можно иметь еще и особые наслаждения. Конечно, не те легкие и скоро преходящие и вновь легко возникающие наслаждения, которые доставляет нам пища, но прочные и постоянные. Наслаждение это, конечно, доставляют не сами вода, каша и корки ячменного хлеба, но сознание, что можешь довольствоваться и такую скудную пищу, которой не отнимет уже никакая превратность судьбы. Такова ведь обычная пища узников, и даже приговоренных к казни тот, кто домогается их смерти, кормит лучше. Каково же должно быть величие духа в том, кто добровольно ведет такой образ жизни, какой не угрожает даже осужденным за самые тяжкие преступления! Это называется предвосхищать оружие у самой судьбы! О мой Луцилий, следуй этому обычаю и в известные

дни удаляйся от своих дел, не принимай никого и заведи сношения с бедностью:

*Презри богатства, о гость, и считай себя равным
бессмертным.*

И в самом деле, всех ближе к божеству тот, кто научился презирать богатство. Я не возбраняю тебе владеть имуществом, я хочу только, чтобы ты владел им бестрепетно, а этого можно достичь только одним способом, а именно, убедив себя, что и без него будешь счастлив, и смотря на него как на нечто преходящее.

Но пора запечатывать письмо. «Прежде, однако, — говоришь ты, — отдай мне свой долг». Отсылаю тебя для расчетов к Эпикуру: «Неумеренный гнев порождает безумие». Насколько это верно, ты, наверное, знаешь сам, если только тебе случалось рассердиться на раба. Гневу подвержены все люди. Он одинаково легко возбуждается как любовью, так и ненавистью, как в серьезных делах, так и среди игр и шуток. Притом причина, вызвавшая гнев, имеет второстепенное значение; главное же в том, на какую почву он попадает. В самом деле, негорючие предметы противостоят даже сильному пламени. Напротив, сухие и горючие разгораются в целый пожар от одной искры. Поверь, о мой Луцилий, результатом сильного гнева бывает безумие, а потому следует избегать сильного гнева не только ради воздержания, но и в видах здоровья.



Письмо XXIII. ОБ ИСТИННОЙ РАДОСТИ

Ты ждешь, может быть, что я напишу тебе, как милостиво обошлась с нами зима, которая была и тепла, и коротка, и как нехорошо было весной, когда наступили морозы, и о подобных пустяках, о которых пишут, когда не знают, что сказать. Но я буду писать только о том, что может быть одинаково полезно и интересно для нас обоих, а именно: я буду поощрять тебя к благоразумию, основа которого состоит в том, чтобы не радоваться по-пустому. И в этом не только основа благоразумия, как только что сказал, но и венец его. Кто знает, чему радоваться, кто не ставит своих радостей в зависимость от чужого произвола, тот достиг высших пределов благоразумия. Напротив, тот, кто живет надеждами, хотя бы исполнение их и казалось близким и легким, а ранее он никогда не обманывался в своих ожиданиях, тот обречен на вечное беспокойство и сомнения. Поэтому прежде всего, о Луцилий, учись радоваться. Ты подумаешь про себя: но какие же радости мне остаются, если ты велишь исключить случайные радости и даже саму надежду — сладчайшее утешение в горестях? И несмотря на это, я хочу доставить тебе вечную радость. Я хочу дать радость в твой домашний обиход, и это будет так, если

твой дом будет внутри тебя. Все другие радости жизни не в силах наполнить сердце. Они оставляют свой след лишь в выражении лица — так они легки и поверхностны. Ведь нельзя же считать радостным того, кто смеется. Дух твой должен быть бодрым, верным и возвышенным. Верь мне, истинная радость — вещь серьезная. Немногие способны с равнодушным лицом или, как говорят эпикурейцы, с улыбкой встретить смерть или впустить в свой дом нищету, обуздать свои страсти, терпеливо переносить болезни. Но тот, кто освоился с мыслью об этих несчастьях, тот всегда радостен, хотя, быть может, и не весел. Я же хочу научить тебя радости именно этого рода: ты уже никогда не лишишься ее, раз узнаешь, где искать ее. Залежи дешевых металлов всегда лежат не глубоко под поверхностью земли; но те металлы драгоценны, жила которых глубоко сокрыта, и чем глубже она, тем полнее возмещает труды рудокопа. Те радости, какими забавляется толпа, доставляют мимолетное, поверхностное наслаждение; всякая радость, приходящая извне, лишена прочных оснований. Та же радость, о которой я говорю и которой надеюсь приобщить тебя, не только прочна, но, что еще важнее, — сокрыта внутри.

Итак, о Луцилий, стремись к тому, что одно может дать тебе счастье. Презри и брось все, что прельщает нас извне, все, что тебе обещают другие: стремись к истинному благу и находи

свои радости только в том, что твое, то есть в себе самом, и притом в лучшей части себя. На свое тело, хотя без его участия ничего не может быть сделано, смотри как на нечто необходимое, но не главное: ему доступны лишь суетные наслаждения, которые скоро приедаются, а если ими пользоваться сколько-нибудь воздержанно, обращаются во вред. Верь мне, все чувственные наслаждения ведут к скорби, особенно если предаваться им неумеренно; быть же воздержанным в том, что считаешь своим благом, очень трудно — это ты знаешь сам. Напротив, желание истинного блага — безвредно. «Что же это за благо и где оно?» — спросишь ты. Отвечаю: оно в спокойной совести, в честном образе мыслей, в праведных поступках, в презрении к удачам жизни, в тихом и умеренном образе жизни, имеющем одну цель. В самом деле, что может быть верным и надежным у тех неустойчивых и суетных людей, которые от одних планов спешат к другим, и если не меняют их по своей воле, то бывают вынуждены к тому обстоятельствами? Только немногие располагают свою жизнь сообразно своим намерениям; большинство же подобно людям, уносимым течением реки, с которым не могут бороться. Одних из них волны тихо несут на себе, других увлекает бурный поток и, успокоившись в течении, выбрасывает на ближайший берег, третьих быстрое течение уносит до самого моря.

Необходимо выбрать себе желанную цель и затем неуклонно стремиться к ней.

Но пора расплатиться с тобою чужими деньгами. Отдаю тебе изречение твоего Эпикура и тем уплачу пошлину, причитающуюся с этого письма: «Тяжело постоянно начинать жизнь». Та же мысль яснее выражается таким образом: «Не хорошо живут те, которые вечно начинают жить». «Почему же?» — спросишь ты. Изречение это нуждается в пояснениях. Да потому, что жизнь таких людей никогда не бывает совершенна. Тот, кто только что начал жить, не может смело смотреть в глаза смерти. Надо жить так, как будто достаточно уже прожито. А этого не может тот, кто едва начал жить. Не думай, что таких, едва начавших жить, мало: почти все таковы. Иные начинают жить тогда, когда пора бы кончить. Если тебе это кажется странным, то вот еще нечто, что ты найдешь еще более странным: есть люди, которые кончают жить раньше, чем начинают.



Письмо XXVIII. О БЕСПОЛЕЗНОСТИ ПУТЕШЕСТВИЙ

Ты думаешь, что это с одним тобой так случилось, и удивляешься как чему-то необыкновенному, что тебе не удалось рассеять свою печаль

и мрачное настроение духа долгим путешествием и непрерывной переменой мест. Но для этого надо жить с обновленной душой, а не под другими небесами. Ты можешь переплыть моря, можешь, как говорит Вергилий, покинуть и земли, и грады... но страсти твои последуют за тобою, куда ты ни пойдешь. Сократ на жалобы, подобные твоим, отвечал: «Чему ты дивишься, что путешествия тебе не помогли? Ведь повсюду ты возил за собою себя самого. И во время пути угнетали тебя те самые причины, из-за которых ты отправился в путешествие». Какое облегчение может дать перемена места и знакомство с новыми городами и местами? Подобные скитания совершенно бесполезны, хотя бы уже потому, что ты странствуешь сам с собою. Сбрось сначала бремя своей души, и тогда ты найдешь прекрасным всякое место. В настоящем же своем настроении ты подобен воспетой Вергилием пророчице, возбужденной и вдохновленной могучим духом:

*Дева приходит в экстаз, желая извергнуть из груди
Сильного Бога.*

Ты скитаешься туда и сюда, чтобы освободиться от гнетущей тебя тоски, которая от самих скитаний становится обременительнее: так точно на корабле, пока он недвижим, груз давит менее; если же корабль раскачивается, то тот его бок накреняется сильнее, на котором лежит

груз. Все, что ты делаешь, делаешь против себя, и своими странствиями только вредишь себе: ведь ты беспокоишь больного. Но излечи свою болезнь, и всякая перемена будет тебе приятна. Даже если придется уехать на край земли и поселиться в глухом углу среди варваров, то и эти страны покажутся тебе гостеприимными. Важно не то, куда ты приедешь, но каким. Наш дух не должен зависеть от места. Живи в том убеждении, что наша родина не какое-либо маленькое местечко, но целый мир. Если б это было ясно для тебя, ты не удивлялся бы, что тебе не принесла никакой пользы перемена мест, которые ты посещал только оттого, что прежние места наскучили тебе. Любое из них понравилось бы тебе, если бы каждое ты считал своим.

Ты не путешествуешь, но скитаешься из одного места в другое, а между тем то счастье, которого ты ищешь, можно найти во всяком месте. Что может быть суетливее форума, но и там можно жить спокойно, если это будет необходимо. Впрочем, если дозволено выбирать, то я бежал бы дальше от самого вида и соседства с форумом. Ибо как есть места, вредные даже для самого крепкого здоровья, так есть места, нездоровые для души, особенно не совсем еще совершенной и развитой. Я не могу одобрить тех, которые идут в толпу и, находя полезным вести бурную жизнь, ежедневно борются с разными житейскими затруднениями. Мудрец может

вести такую жизнь, но он не выберет ее и предпочтет жить в мире, а не на войне. Не много пользы в освобождении от своих недостатков, если постоянно приходится иметь дело с чужими. Ты возразишь: «Тридцать тиранов теснили Сократа, но не могли сокрушить его дух». Но не все ли равно, сколько тиранов? Рабство всегда одно. Кто его раз возненавидел, будет свободен, сколько бы у него ни было господ.

Пора кончить письмо; но прежде заплачу свою дань. «Сознание греха — начало исправления». Вот прекрасное изречение Эпикура. В самом деле, кто не считает себя грешным — не думает об исправлении. Сперва надо уличить себя в грехе и тогда можно исправиться. Между тем иные хвастают своими пороками. И уж, конечно, тот, кто считает их за добродетель, не подумает исправляться. Итак, внимательно следи за собою и исследуй свои побуждения: будь по отношению к самому себе обвинителем, судьей и защитником. Иногда наказывай себя.



Письмо XXX. О СТРАХЕ СМЕРТИ

Недавно видел я Басса Ауфидия. Он совсем постарел и одряхлел. Дряхлость так одолела его, что он ее еле выносит. Старость легла на плечи его всею своею тяжестью. Ты знаешь, что Басс

всегда был некрепкого здоровья и слабосилен; но он долго бодрился, или, лучше сказать, боролся, а теперь сразу опустился. Как на корабле с течью еще можно плыть, пока на нем одна или две трещины, но когда он начнет течь и распадаться в нескольких местах, то ничто уже не может спасти его от потопления; так и в старческом теле с дряхлостью можно бороться лишь до известного времени. Когда же в полуразвалившемся здании рушатся последние устои, один падает, другой рассыпается, пора подумать о выходе из него. Впрочем, Басс еще бодр духом. Философия дает силу быть веселым ввиду самой смерти, и при всяком состоянии здоровья быть радостным, не слабея духом, даже когда покидают физические силы. Искусный корабельщик умеет управлять дырявыми парусами, а если корабль совсем лишится снастей, он наладит для плаванья самые остатки корабельного вооружения. Так именно поступает и Басс и ждет своей кончины с таким спокойствием, с каким не ждут самые равнодушные люди чужой.

О Луцилий! Великое это дело и долго ему надо учиться — равнодушно покидать здешний мир, когда наступит неотвратимый час смерти. Есть роды смерти, сопряженные с надеждою на избежание ее. От болезни можно поправиться. Пожар можно потушить. Обвал, готовый задавить, может скатиться мимо. Бурное море иногда тою же волною, которою готово было

поглотить, выбрасывает погибавших на берег живыми и невредимыми. Занесенный над головою меч врага порой минует жертву. Но никакой надежды не остается тому, кто умирает от старости. Этот уже не избежит смерти. Этот род смерти всех спокойнее, но зато всех дольше. Басс точно сам себя провожает в могилу и, как будто живя вне себя, с истинною мудростью переносит тоску по самому себе. Он много говорит о смерти и старается убедить нас в том, что причина страха смерти лежит не в самой смерти, но в умирающем. В самой же смерти нет более тягостного, чем после нее. Но ведь так же безумно бояться того, чего не испытаешь, как и того, чего не почувствуешь. А разве можно почувствовать то, через что совсем перестанешь чувствовать? Итак, говорил Басс, смерть до того вне всякого зла, что должна быть и вне страха.

Конечно, в его речах нет ничего нового; все это неоднократно уже высказывалось и будет высказываться впредь. Но когда я читал или когда я слышал, как говорили, что не следует бояться, люди, которые далеки были от самой причины страха, — это не производило на меня особенного впечатления. Слова же Басса имели для меня тем большее значение, что он говорил о предстоящей своей смерти. Скажу прямо: по-моему, тому, кто уже в объятиях смерти, легче, нежели тому, кто только близок к ней. Наступление смерти даже малодушным придает

силы храбро встретить неотвратимое. Так, гладиатор, выказавший себя трусом в течение всей битвы, все-таки умеет подставить свою грудь врагу и дать вонзить в нее ищущий ее меч. Предстоящая же в скором времени, но еще не наступившая смерть требует покорности и вместе твердости духа, что встречается весьма редко и притом только у мудрецов.

Поэтому я с особым наслаждением слушал речи Басса о смерти, тем более что, будучи близок к ней, он знал ее природу. Всего убедительнее, всего важнее, по-моему, было бы для нас свидетельство человека, умершего и затем воскресшего, если бы он сообщил нам, что в смерти нет страдания. Но о том, какое ощущение вызывает приближение смерти, отлично может рассказать и тот, кто был близко от нее, видел ее наступление и готов был умереть. В числе таких людей можно считать и Басса. Ведь он, конечно, не станет обманывать. А он говорит, что бояться смерти так же нелепо, как бояться старости. Ибо как старость следует за молодостью, так смерть следует за старостью. Кто не хочет умирать, не хочет и жить. Ведь смерть дана нам как заключение жизни: к ней мы идем. А потому нелепо бояться ее. Того, что неизбежно, ждут; бояться можно только сомнительного. Смерть есть необходимость, для всех одинаковая и неотвратимая: какой же смысл жаловаться на положение, из которого никто не изъят? Первое

условие справедливости — равенство. Нечего защищать природу за то, что она подчинила нас одному закону с собою: ведь все, что она созидает, она же и разрушает, чтобы воссоздать снова. И если кому выпадет на долю спокойная смерть от старости, не внезапное прекращение жизни, но постепенное угасание, то, право, такой человек должен прославлять богов за то, что он, насытившись жизнью, достиг наконец столь необходимого и приятного для усталого покоя. Людей, желающих смерти, можно видеть часто, пожалуй, чаще, чем жаждущих жизни. Но не знаю, кто выказывает больше величия духа, те ли, которые жаждут смерти, или те, которые встречают ее спокойно и весело. У первых желание смерти является результатом порыва и минутного негодования; спокойствие вторых — следствие здравого суждения. Часто ищут смерти в порыве отчаяния, но только тот весело идет ей навстречу, кто долго приготавливался к ней.

Признаюсь, я часто заходил к дорогому мне Бассу под разными предлогами. Мне хотелось знать, все ли он будет оставаться таким или вместе с телесными силами будет убывать и душевная бодрость. Но бодрость его все возрастала, совершенно как возрастает она у состязающихся в скачках, когда они, совершая седьмой круг, приближаются к цели. Басс говорил нам в духе Эпикура, что он надеется на то, что его последний вздох будет безболезнен; если же он

сопряжен со страданиями, то есть утешение в самой их краткости. Никакая сильная боль не может продолжаться долго. Кроме того, он утешается мыслью, что если самое разлучение души с телом сопряжено с мучениями, то после них он не будет уже чувствовать никакой боли. Наконец, Басс не сомневается, что старческий дух держится на самых краях губ, и ему не трудно будет отделиться от тела. Огонь, охвативший большую массу горючего материала, можно потушить только водою, иногда даже приходится рушить все здание; если же горючего материала недостаточно, он гаснет сам собою.

Все это, о Луцилий, я охотно слушал не потому, чтобы это было ново, но потому, что я видел подтверждение всего этого на деле. Как? Разве раньше мне не случалось видеть прекращающих свою жизнь? Да, я видел таких, но для меня важнее видеть тех, которые умирают без отвращения к жизни и покидают ее, а не прерывают. Басс говорил: «Мы сами виноваты, если чувствуем мучения страха от приближения смерти. Кому же она не близка, кого не ожидает в любом месте и во всякое время? Как часто, когда мы думаем, что наступила причина нашей смерти, гораздо ближе к нам другие причины, о которых мы и не подозреваем. Бывает, что тот, кто ожидал смерти от врага, умирает от несварения желудка». Если пораздумать над причинами наших страхов, то окажется, что мы видим

одни, а на деле существуют другие. Мы боимся не самой смерти, но мысли о ней, потому что от смерти мы всегда одинаково далеки. И если бояться смерти, то следует бояться ее всегда, потому что какой же час изъят из ее власти?

Однако я начинаю бояться, чтобы длинные письма не показались тебе хуже самой смерти. Поэтому кончаю. Ты же, чтобы не бояться смерти, всегда размышляй о ней.



Письмо XXXI. О НЕОБХОДИМОСТИ ТРУДА

Узнаю моего Луцилия. Он становится тем, чем обещал быть. Следуй же порыву своей души, влекущей тебя ко всему лучшему, презрев то, что считается за благо толпою. Я сам не желаю видеть тебя иным и лучшим, нежели ты сам того хочешь. Ты построил себе обширный и прочный фундамент; возведи же задуманное тобою здание до конца и пусти в ход то, что ты выносил в душе своей. В результате ты достигнешь мудрости, если, впрочем, заткнешь свои уши от соблазна, и притом даже не воском, ибо воска для этой цели недостаточно. Необходим более плотный материал, нежели тот, который употребил (против сирен) Одиссей. Голос, которого опасался греческий герой, был голосом лесты, но он не был, по крайней мере, голосом

народа. Тот же голос, которого придется остерегаться тебе, будет звучать не с одной какой-нибудь скалы, но по всей земле. Тебе придется опасаться не одного какого-либо места, в котором страсть устроила на тебя засаду, но всех городов. Будь глух даже к своим друзьям. Из хороших побуждений они желают тебе дурного. Если хочешь быть счастливым, моли богов, чтобы ни одно из их пожеланий тебе не исполнилось. То, чего они желают для тебя, совсем не благо.

Единственное истинное благо, причина и залог счастливой жизни — это вера в себя. А ее нельзя достигнуть иначе, как не боясь труда или считая его, по крайней мере, в числе вещей безразличных. Ибо не может быть, чтобы одна и та же вещь была то дурна, то хороша, то легка и удобна, то невыносима. Сам по себе труд не есть благо, но выносливость в труде — благо. Я осудил бы трудящихся ради пустого, но зато тех, кто стремится к праведному, я готов одобрять, чем прилежнее и чем менее распускаются они и падают духом. Я готов постоянно поощрять их: «Восстаньте, добрые, и поднимитесь единым духом на предстоящий перед вами холм». Труд воспитывает души благородных. Итак, не следует желать и стремиться к тому, что дается только вследствие молитв твоих предков. Вообще, для мужа, готовящегося к великим делам, постыдно надоедать богам молитвами. К чему молитвы? Устрой себе сам свое

счастье. И ты устроишь его, если поймешь, что хорошо то, с чем связана добродетель, и дурно то, с чем соединен порок. Как без света нет блеска, без темноты или тени нет черного, без огня нет тепла, без ветра прохлады, так благородное и низкое зависит от примеси добродетели и порока. Но благо в познании вещей, а зло в невежестве. Человек опытный и искусный, смотря по обстоятельствам, одно отвергает, другое принимает. Но он не боится того, что отвергает, и не поклоняется тому, что принимает, если дух его велик и непреклонен. Никогда не сдавайся и не робей. Недостаточно не уклоняться от труда — ищи его. «Но, — скажешь ты, — какой же труд тогда ты назовешь пустым и непроизводительным?» Такой труд, который вызывается низкими побуждениями. Но и в нем, самом по себе, нет ничего дурного, не более, по крайней мере, чем в том, который вызывается прекрасными побуждениями; потому что труд развивает терпение, побуждающее душу на трудные и высокие подвиги увещаниями: «не ленись, недостойно мужа бояться усталости». Пускай поэтому твой труд направляется на всевозможные предметы, и добродетель твоя станет совершенной, и ты достигнешь той полной гармонии в своей жизни, которой нельзя достигнуть без искусства и без умения познавать божеское и человеческое. В этом заключается высшее благо. И раз ты добьешься его, ты

станешь союзником богов, а не просителем их.

«Но как этого достигнуть?» О, для этого не надо проезжать ни Пенинских, ни Грайских гор, ни пустынь Кандавии, ни Сиртов, ни Сциллы, ни Харибды, которые ты проехал ради какой-то жалкой прокураторской должности. Путь к этому благу безопасен, и природа сама снарядила тебя в дорогу. Она дала тебе все необходимое, чтобы стать равным Богу, если только ты сам не растерял ее даров. Ведь не деньги делают равным Богу — у Бога их нет; и не должностное платье — ибо Бог наг; и не слава, не почести — Бога никто не знает; многие думают о нем дурно, и он не мстит за это; и не толпа рабов, несущих твои носилки по городским улицам и проезжим дорогам: Бог — сам все несет на себе. И не красота, и не физические силы могут сделать тебя блаженным — они не выдерживают старости. Ищи того, что не портится со временем, чего нельзя расхитить и испортить. А такими свойствами обладает душа, но душа прямая, добрая, великая. А как назвать ее иначе, как не Богом, обитающим в человеческом теле? Такая душа может встретиться как у римского всадника, так и у вольноотпущенника, и у раба. Ибо и римский всадник, и вольноотпущенник, и раб — лишь пустые имена, измышленные честолюбием. Попасть на небо можно из любого места. Воспрянь же духом и сделайся равным бессмертным.

Для этого не надо ни золота, ни серебра; из них нельзя сделать даже хорошего изображения Бога. Вспомни, что те изваяния богов, которые были наиболее близки к ним, были глиняные.



Письмо XXXII. О ЗАВЕРШЕНИИ ЖИЗНИ

Я расспрашиваю о тебе всех, кто приходит из твоей стороны, что ты делаешь, где и с кем ты проводишь время. Так что, хотя ты и не можешь подать мне своего голоса, я все же с тобой. Живи же так, как будто я все слышу и даже вижу. И знаешь ли, что мне всего приятнее из того, что я слышу о тебе? То, что я ничего не слышу, что многие из тех, кого я спрашиваю, не знают, что ты делаешь. Ведь очень полезно не говорить с теми, с кем не сходишься и имеешь разные интересы. В этом я имею залог того, что тебя не отвлекут от выполнения твоих планов, хотя вокруг тебя будет толпа людей, беспокоящих тебя.

Я, впрочем, не боюсь, что тебя изменят, но я опасаясь, чтобы тебе не помешали. Ведь нам очень вредит уже тот, кто мешает, так как наша жизнь коротка, а своим непостоянством мы и еще сокращаем ее, принимаясь за одно и то же по нескольку раз. Мы дробим нашу жизнь на части и тратим ее попусту. Спешите же,

о Луцилий, и думай, насколько бы мог ты ускорить свой бег, если бы за тобой гнался враг, если бы ты видел за собою всадника, следующего по твоим пятам. А ведь это именно так и есть. За тобой гонятся. Ускорь же свой шаг и беги, спасайся в безопасное место и беспрестанно думай, как прекрасно завершить свою жизнь раньше смерти, а затем спокойно проводить остальную часть своего времени, зная, что ничто не мешает тебе наслаждаться счастливою жизнью, которая не станет счастливее оттого, что будет дольше. О, когда наконец наступит такое время, когда ты не будешь зависеть от времени, когда ты будешь жить спокойно и безмятежно и, довольный и удовлетворенный, не будешь думать о завтрашнем дне!

Хочешь знать, что заставляет людей жаждать будущего? То, что никто не принадлежит себе в настоящем. Родители твои много желали для тебя, я же со своей стороны желаю тебе презрения ко всему, чего они желали для тебя. В своих желаниях они ограбили многих, чтобы обогатить тебя. Ведь что достается тебе, отнято у кого-нибудь другого. Я же хочу тебе обладания самим собою, хочу, чтобы ум твой, утомившись суетными помышлениями, наконец успокоился и остановился, хочу, чтобы ты нашел удовлетворение в самом себе и, познав истинные блага, для обладания которыми достаточно

одного познания их, не нуждался в продлении своей жизни. Только тот избегнет нужды и станет свободным от всего, кто живет, завершив свою жизнь.



Письмо XXXVI. О РАВНОДУШИИ К СУЖДЕНИЯМ ТОЛПЫ И К СМЕРТИ

Скажи своему другу, что он со спокойною совестью может не обращать внимания на тех, кто бранит его за то, что он захотел жить в неизвестности и покое и оставил свою должность, хотя мог бы на ней повиситься, предпочтя всему свободу. Как хорошо устроил он свои дела — это он будет доказывать каждый день. Те, которым обыкновенно завидуют, непрочны: одни падают, другие исчезают. Фортуна — вещь беспокойная, в ней самой источник тревог. Она волнует наш ум на различные лады: одних манит одним, других другим, этим обещает власть, тем богатство, одних возбуждает, других покоит и усыпляет. «Однако есть люди, которые легко ее переносят». Да, как и вино. Потому не считай счастливым человека, в котором многие ищут. К нему сходятся как к озеру, из которого черпают, но которое мутят. «Но друга моего зовут пустым и ленивым человеком». Неужели ты не знаешь, как часто говорят неправду и утверждают совершенно противное истине? Ведь

твоего же друга называли счастливым. А разве он был счастлив? Меня не смущает даже то, что многие сочтут его за человека сурового и мрачного. Аристон говорил, что печальный юноша нравится ему больше, чем веселый и любезный. Так, хорошее вино, пока молодо, кажется грубым и терпким; то же, которое бывает приятно на вкус, прямо из бочки, не выдерживает хранения. Итак, пусть зовут твоего друга мрачным и не понимающим своей выгоды. Эта мрачность его характера будет хороша в старости; она поможет ему настойчиво заняться совершенствованием и изучением науки искусств, не тех, которые достаточно знать слегка, но тех, которыми ум должен проникнуться.

Теперь твоему другу как раз пора учиться. Ибо хотя нет такого времени, когда не следует учиться, и всякий возраст пригоден для научных занятий, — не во всякое время хорошо получать образование. Смешон и жалок старец, изучающий азбуку. Молодому прилично подготавливать; старику — употреблять. Ты же поступишь весьма полезно даже для самого себя, если научишь своего друга стать как можно лучшим. Благодеяния такого рода следует как можно чаще и принимать, и оказывать; несомненно, в таких случаях одинаково выгодно и давать, и брать. Наконец, друг твой уже не свободен: он обещал. Нарушить же такое обещание постыднее, чем не платить долгов. Для уплаты долга

купцу необходимо удачное плавание, земледельцу – урожай и благоприятная погода. Твоему же другу для того, чтобы исполнить свое обещание, достаточно только желаний. Судьба не имеет власти над нравственными поступками.

Пусть же твой друг так образует свой характер, чтобы легче всего достигнуть совершенства, чтобы в уме его не было ничего лишнего, но не было бы и пробелов, и чтобы он оставался непоколебим во всяких обстоятельствах. Если на долю твоего друга выпадут материальные блага, пусть он будет выше их; если же по каким-либо причинам он потеряет часть своего состояния или даже все свое состояние, пусть он не чувствует себя оттого хуже.

Если б он родился в Парфии, его с малолетства учили бы натягивать лук; если бы он родился в Германии, он учился бы метанию дротика, если б он жил во времена наших предков, он умел бы ездить верхом и преследовать бегущего неприятеля. Обычай этих стран требует, чтобы их жители учились именно этим искусствам. Твой же друг должен учиться тому, что одинаково годится против всякого оружия, против всякого врага, а именно презрению к смерти. Несомненно, что в смерти есть нечто такое, что устрашает нашу душу, одаренную любовью к жизни. Но ведь незачем было бы учиться и воспитывать в себе презрение к смерти, если бы врожденные инстинкты сами влекли нас

не к самосохранению, а к смерти. Так, не надо учиться спокойно лежать на розах, в предположении, что, быть может, и это придется испытать в жизни. Напротив, следует приучаться к тому, как бы сохранить верность даже среди мучений пытки, к тому, чтобы, если придется, раненым стоять на часах и не опираться даже на дротик; ибо случается, что сон овладевает теми, кто прислонится к чему-либо.

В смерти нет ничего неудобного, ведь для этого необходимо, чтобы был кто-либо, кто бы испытывал от нее неудобство. Если же ты слишком привязан к самому факту жизни, то знай, что из того, что уходит с твоих глаз, ничто не гибнет, но все возвращается в лоно природы, из которого вышло затем, чтобы возродиться. Все кончается, ничто не исчезает. И смерть, которой мы так боимся и ненавидим, только видоизменяет жизнь, а не отнимает ее. Наступит день, и мы снова выйдем на свет, хотя многим, если они не забудут о своей прежней жизни, это будет неприятно. После я обстоятельнее докажу, что все, что, по-видимому, гибнет, в сущности только изменяется.

Кто надеется вернуться, тот уходит спокойно. Обратись к природе: все возобновляется в ней: ничто не исчезает в этом мире, но периодически проходит и возникает снова. Лето проходит, но через год наступит опять. Зима кончается, но, по прошествии нескольких месяцев,

наступает вновь. Ночь затмевает солнце, но день приводит его снова за собою. Течение звезд опять выводит те звезды, которые было уже зашли. Одна часть неба постоянно поднимается, другая опускается. Наконец, я могу привести в заключение еще одно доказательство: ни дети, ни сумасшедшие не боятся смерти; тем постыднее, что разум не может постигнуть ее безвредности, когда она очевидна даже для глупости.



Письмо XLII. О БОЖЕСТВЕ, ЖИВУЩЕМ ВНУТРИ НАС

Ты поступаешь прекрасно и спасительно, если, как пишешь, продолжаешь стремиться к совершенствованию; ибо нелепо только желать его, когда от тебя же зависит и достигнуть его. Не нужно простираť руки к небу, не нужно умолять жреца, чтобы он допустил нас к самому идолу, как будто тогда Бог скорее услышит нас: Бог близок к тебе, он с тобою, он в тебе. Да, о Луцилий, это так: в нас обитает святой дух, блюститель и страж всякого блага и зла внутри нас. Как мы ведем себя по отношению к нему, так и он поступает относительно нас. Никто не может быть хорошим помимо Бога; никто не может стать выше судьбы без его помощи. Только Бог подает нам прекрасные, возвышенные

советы. В каждом доблестном муже... Бог обитает, хотя неизвестно какой. Если тебе случилось попасть в рощу из старых деревьев, переросших свою обычную высоту, в которой небо скрыто тенью переплетающихся между собою ветвей, то строгая таинственность этого места и восхищение перед такой густой и непроницаемой сенью, наверное, невольно располагали тебя к вере в божество. Точно так же вид большой и глубокой пещеры, образованной в горе полувыветренными скалами, не искусственной, но возникшей вследствие естественных причин, поражает дух каким-то священным чувством. Мы поклоняемся истокам больших рек. В тех местах, где из земли неожиданно вырывается сильный ключ, ставят алтари. Горячие источники составляют предмет обожания, а темнота или неизмеримая глубина некоторых озер делает их священными. И если ты встретишь человека, остающегося бесстрашным среди опасностей, чуждого страстей, счастливого при самых бедственных обстоятельствах, спокойного среди бурь и волнений, относящегося к людям как высший и к богам как равный, — разве не охватит тебя благоговение перед ним? Разве ты не подумаешь о нем, что это существо высшее и не может быть подобно тому жалкому телу, в котором обитает? На него снизошел дух Божий. Небесная сила оживляет этот возвышенный, уравновешенный дух, для которого

все мельче его, который с улыбкой смотрит на все, что составляет предмет наших желаний и нашего страха. Не может этого быть без участия божества! И большая часть этого божества остается там, откуда оно снизошло. Как лучи солнца достигают земли, но постоянно находятся там, откуда посылаются, так и великий святой дух, снизошедший на такого человека, чтобы мы легче могли познать божество, хотя и живет среди нас, но тяготеет к своему источнику. Там его корень, но сюда оно стремится и живет среди нас, оставаясь выше нас.

Какой же это дух? Конечно, такой, который опирается на присущее ему самому благо. Ибо что может быть нелепее, как хвалить человека за то, что не его? Что безумнее восхищения тем, что сейчас же может быть перенесено на другого человека? Золотые удила не делают лучшим самого коня. Из двух львов — одного с позолоченною гривой, но изнуренного, пока его укрощали и украшали, и другого, косматого, но неукротимого, и, следовательно, бодрого, каким его и создала природа, прекрасного в своей косматости, так как его истинная красота и состоит в том, что на него нельзя смотреть без страха, — второй будет предпочтен первому, усталому, хотя и раззолоченному. Никто не должен хвататься тем, что не его. Мы хвалим виноградную лозу, если ветви ее отягощены гроздьями, если под тяжестью их гнутся самые подпорки;

и кто скажет, что лучше такая лоза, на которой висят золотые гроздья и золотые листья? Но плодоносность есть качество, принадлежащее самой лозе; так и в человеке следует хвалить то, что составляет его свойство. У него милое семейство, прекрасный дом, он много сеет, много денег пускает в оборот, но все это не в нем, а только вокруг него. Хвали в нем то, чего никто не может у него отнять или подарить, что составляет его неотъемлемую принадлежность. А что это такое? Душа и разум. Человек есть существо разумное. А потому он достигает высшего блага, если выполняет свое прямое назначение, для которого родился. Чего же требует от него разум? Самой легкой вещи — жить сообразно с природой. Только общее безумие сделало это трудным. Мы сами вовлекаем друг друга в пороки. И как призвать ко спасению тех, которых никто не удерживает от гибели, а толпа влечет к ней?



Письмо XLIV. ИСТИННОЕ БЛАГОРОДСТВО ДАЕТСЯ ФИЛОСОФИЕЙ

Опять ты умаляешь себя передо мною и говоришь, что обижен природой и судьбой. А между тем ты мог бы возвыситься над толпой и достигнуть высшего людского счастья. Ведь философия тем и хороша, что она не обращает внимания

на родословную; впрочем, если доискиваться первого источника нашего происхождения, то все происходит от богов. Ты — римский всадник и достиг этого звания своими стараниями, и ведь, клянусь небом, немногим открыт доступ в это сословие. Не всякий попадает в сенаторы. Даже в военную службу, сопряженную с трудами и опасностями, принимают не без разбора. Философия же для всех открыта. Все достаточно благородно для занятия ею. Она никого не отталкивает, никого не выбирает и всем светит одинаково. Сократ не был патрицием, Клеанф был водовозом и занимался поливкой садов. Платон не был знатен, когда стал заниматься философией, но она сделала его знатным. Так отчего же ты не надеешься быть равным этим мудрецам? Каждый из них может быть твоим предком, если ты выкажешь себя достойным их. И ты станешь таким, если прежде всего усвоишь себе, что никто не выше тебя по происхождению. У всех нас равное число предков: происхождение каждого из нас теряется во тьме прошедшего. Платон говорит, что нет царя, у которого бы не было предком раба, и нет раба, не имеющего в числе предков царя. Все эти общественные различия перемешались в длинном ряду годов и много раз изменялись судьбою. Благороден тот, кто от природы одарен склонностью к добродетели. Только на это и надо обращать внимание. А если ты обратишься к древним

временам, то увидишь, что все люди получили начало в то время, раньше которого ничего не было. От сотворения мира до наших дней нас привел длинный ряд предков, попеременно то славных, то низких. Благородство не дается галереей закоптелых изображений предков. Ведь они жили не ради нашей славы, и то, что было раньше нас, — не наше. Благородным делает человека только дух, способный в любых обстоятельствах возвыситься над судьбой.

Итак, если б даже ты не был римским всадником, а был вольноотпущенником, все-таки ты можешь быть единственным свободным среди свободнорожденных. Ты спросишь, каким путем достигнуть этой свободы? Для этого надо научиться различать добро и зло самому, а не по указанию толпы. Надо обращать внимание не на то, откуда что идет, а на то, к чему оно ведет. Если что-либо может дать счастье, то хорошо само по себе. Того нельзя истолковать в дурную сторону. «Но почему же тогда мы видим столько ошибок, если все хотят счастья?» Потому что за самое счастье принимают только средства к нему и, стремясь к счастью, бегут от него. В самом деле, сущность блаженной жизни есть полная безопасность и непоколебимая в ней уверенность, а между тем все выискивают причины к беспокойству и не только несут свое бремя через тернистый путь жизни, а просто тащат его. Таким образом, люди только удаляются от достижения той цели,

к которой стремятся, и чем сильнее стремятся к ней, тем больше затрудняют себе путь и только идут назад. Так именно бывает с теми, кто торопится выйти из лабиринта. Сама торопливость замедляет их.



Письмо L. ПОЗНАЙ СВОИ НЕДОСТАТКИ

Я получил твое письмо только через несколько месяцев после того, как ты послал его. Я даже счел лишним поэтому спросить у того, кто принес мне письмо, что ты делаешь. У него должна бы быть очень хорошая память, если б он помнил это. Я надеюсь, однако, что ты уже живешь так, что где бы ты ни был, я могу знать, что ты делаешь. Ибо чем иным можешь ты заниматься, как не самосовершенствованием, как не тем, чтобы с каждым днем освобождаться от старых заблуждений, познавая, что те пороки, которые ты объяснял внешними обстоятельствами, коренятся в самом тебе. Ведь часто бывает, что мы приписываем что-либо времени или месту, а затем оказывается, что, куда мы ни переселимся, оно последует за нами. Ты знаешь Гарпасту, карлицу моей жены, которая досталась мне как ненужная обуза, по наследству. Сам я не любитель подобных уродов, и если мне когда-либо хочется позабавиться в обществе шута, мне не надо

долго искать его: я смеюсь над собою. Так вот эта Гарпаста внезапно ослепла; но, что кажется даже невероятным, а между тем это правда, — она не верит, что слепа. Она ежеминутно зовет к себе вожатого, чтобы бродить по дому, и только уверяет, что в доме темнота.

Поверь, что-то, над чем мы смеемся в ней, бывает с каждым из нас. Так, никто не признает себя скупым или жадным. Но слепцы, по крайней мере, ищут вожатых, мы же блуждаем без проводников и говорим себе: «Я вовсе не тщеславен, но никто в Риме не может жить иначе... Я не расточителен — это городская жизнь требует больших издержек... Не моя вина, если я вспыльчив, если я не устроил еще себе правильный образ жизни, — тому причиной моя молодость». К чему обманывать себя? Наше зло не вне нас: оно коренится внутри нас, в самом сердце. И тем труднее нам вылечиться, что мы не понимаем, что мы больны. А если мы начнем лечиться, сколько времени надо, чтобы изгнать из себя все эти застарелые уже болезни! Теперь же мы не зовем еще даже врача, который все-таки скорее помог бы нам, если бы принялся лечить еще свежий порок. Нежный и незагрубелый ум легко последует за тем, кто укажет ему истинный путь. Только того, кто уже слишком отстал от природы, трудно вернуть к ней. Мы стыдимся учиться добродетели, но, клянусь небом, если и стыдно звать учителя добродетели,

то нельзя же надеяться, что мы получим такое благо совершенно случайно. Необходимо поработать над собой, хотя, по правде сказать, труд этот не будет тяжел, если только, как я сказал, начать образовывать и исправлять ум прежде, чем он закоснеет в пороках. Впрочем, не надо отчаиваться даже и относительно закоснелого ума. Постоянным трудом и внимательной, не слабеющей заботой можно достигнуть всего. Даже и кривые дубы можно выпрямить; искривленные бревна можно распрямить теплом, и хотя дерево выросло криво, оно все-таки может быть переделано сообразно нашим требованиям. Насколько же легче образовать душу, гибкую и податливую всяким влияниям. Ибо что такое душа, как не особого рода живой эфир. Но эфир тем гибче всякого другого вещества, чем тоньше.

О Луцилий! Нечего бояться, что тебе может помешать самая давность твоих недостатков. Никому не удавалось иметь праведную душу ранее неправедной. Все мы были предвосхищены злом. Учиться добродетели — значит разучиваться пороку. Но тем охотнее должны мы приступить к уничтожению наших пороков, что, раз привитая, добродетель остается при нас навсегда. Ей нельзя разучиться. Напротив того, пороки, собственно, чужды нам; потому их легко вырвать с корнем и бросить. Гораздо тверже держится то, что сидит на своем месте. Добродетель соответствует нашей природе; пороки

враждебны и противны ей. Но хотя раз насажденная добродетель уже не погибнет и уход за нею легок, однако начало и тут трудно, ибо неразвитой и больной душе свойственно бояться всего нового. Поэтому необходимо принудить ее к началу. Затем и самое лечение перестанет быть неприятным. Напротив того, чем далее будет подвигаться выздоровление души, тем более будет она наслаждаться. После выздоровления ей захочется даже новых лекарств: философия не только полезна, она приятна.



Письмо LI. О БАЙСКИХ КУПАНИЯХ

Кто как может, о мой Луцилий. Ты живешь по соседству с Этной, прекраснейшей сицилийской горой (которую, никак не могу понять почему, Мессала или Вальгий, так как у них обоих я читал это, называют единственной, тогда как и во многих других местах из земли выходит огонь, и притом не только из высоких гор, но также из низких; первое, правда, случается чаще, конечно, потому что огонь стремится вверх). Я же, насколько могу, довольствуюсь Байями, откуда я, впрочем, уехал на другой день после того, как приехал, считая их за место, которого следует избегать, как ни богато одарено оно природой, за то, что его избрала

местом своего пребывания роскошь. Это, впрочем, не значит, что следует ненавидеть какое-либо место; но как не всякая одежда прилична для мудреца и человека серьезного, хотя мудрец и не ненавидит никакого цвета, а только считает некоторые цвета непригодными для того, кто проповедует умеренность, так бывают и страны, которых избегает мудрец, или даже только стремящийся к мудрости, как чуждых добрым нравам. Так, заботясь об уединении, мудрец не изберет для этой цели Канона, хотя Канон сам по себе не мешает вести умеренную жизнь; не изберет мудрец и Байев, так как этот город стал пристанищем пороков. В нем роскошь позволяет себе проявляться наиболее резко; в нем нравы распущеннее, как будто в известном месте допускается большая распущенность, чем в других. Мы же должны выбирать для своего пребывания места здоровые не только для нашего тела, но и для наших нравов. Я бы не хотел жить ни в обществе палачей, ни в обществе кутил. Что за необходимость смотреть на пьяниц, шатающихся по берегу моря, на флотилии гуляющих, на озера, с которых раздается пение хоров, и на другие тому подобные вещи, которыми роскошь, хотя и дозволенная законами, не только грешит, но и выставляется напоказ? Следует, безусловно, избегать даже самых поводов к порокам. Надо закалять свой дух и удалять его от прельщения страстей. В одну зиму

Ганнибала, неукротимого альпийскими снегами, расслабили горячие ключи Кампании. Он, побеждавший оружием, был побежден пороком. Мы тоже на войне, и притом на такой войне, на которой никогда нет ни отдыха, ни покоя. Мы должны воевать со страстями, а страсти, как видишь, овладевают иногда даже самыми строгими умами. Тот, кто предначертал себе совершить великое дело, должен знать, что при выполнении его нельзя быть ни слабым, ни мягким.

Какой мне прок в горячих источниках? На что мне бани, в которые нагоняют сухой пар, чтобы заставить потеть тело? От работы оно и без них покрывается потом. Если бы мы, подобно Ганнибалу, прекратив все дела и оставив войну, занялись согреванием наших тел, то всякий по справедливости мог бы упрекнуть нас в опасной лени, несвоевременной даже для победителя, а тем более для того, кто еще только что начал побеждать; нам менее, чем карфагенским войскам, позволительно предаваться отдыху, так как при отступлении мы подвергаемся большей опасности, и даже при продолжении военных действий нам остается больше дела. С нами воюет сама судьба за то, что мы не хотим покориться ее велениям. Мы не только не согласны подчиниться судьбе, но отвергаем ее, а для этого нужна большая храбрость. Раз поколебавшийся, дух уже не принадлежит себе; если он уступил

страсти, придется уступить скорби, труду и, наконец, бедности. Равным образом захочет иметь над ним власть и честолюбие, и гнев, и он не выдержит напора стольких влияний и погибнет. Наша цель — свобода; ради нее подьются все труды. Но в чем состоит свобода? Не быть рабом никакой вещи, не зависеть ни от какой случайности, ни от какой необходимости — быть равным самой судьбе. В тот день, когда я пойму, что я сильнее ее, она потеряет надо мной всякую власть. А судьба станет покорна мне, если в моих руках будет смерть.

Чтобы предаваться таким размышлениям, следует избирать места серьезные и святые. Чрезмерная живописность изнеживает душу, и, без сомнения, местность может повлиять на упадок бодрости. Вьючные животные легко переносят всякую дорогу, если копыта их окрепли на жесткой почве. Напротив, животные, выросшие на мягком и болотистом пастбище, легко портят копыта. Солдаты, набранные в горных округах, бывают выносливее. Напротив, городские жители и рабы ленивы. Руки, призываемые к оружию от плуга, не боятся никакой работы. Руки, привыкшие к умощениям, отказываются от самой легкой. Строгая суровость местности делает дух бодрее и способнее на великие дела. Сципион предпочел, как место своей ссылки, Литерны Байям: в Литернах он не мог с таким комфортом переносить

свое падение. Даже Кай Марий, Гней Помпей и Цезарь, на которых судьба впервые возложила счастье всего римского народа, хотя и построили себе виллы в байских окрестностях, однако расположили их на вершине горы. Казалось, и здесь они хотели воевать и наблюдать с возвышенного поста на далекое расстояние все, расположенное внизу. Стоит обратить внимание на то, какое место выбрали они для своих вилл и какие строения в них возвели: подумаешь, что здесь не дачи, а крепости. Не думаешь ли ты, что в этом уголке согласился бы когда-нибудь жить Катон и считать, сколько проплыло мимо него блудниц в галерах, сколько различных сортов расписанных яркими красками лодок спущено на воду, сколько роз плавают по озеру, или слушать по ночам хоры певцов? Он предпочел бы прожить всю жизнь в палатке, раздвигая ее каждую ночь собственными руками. Да и какой мужчина предпочтет пробуждение от звуков мелодии пробуждению от звука военных сигналов.

Довольно, впрочем, вести тяжбу с Байями; только с пороками следует вечно воевать. Преследуй их, о Луцилий, без конца и без меры, ибо нет им конца и нет меры. Исторгни же пороки, которые льстят твоему сердцу, иначе придется потом самое сердце вырвать с ними. Особенно преследуй страсти и считай их злейшими врагами. Подобно разбойникам, они ласково обнимают нас, чтобы поразить ножом.



Письмо LIV. О ПРИБЛИЖЕНИИ СМЕРТИ

Давно я не подвергался никаким болезням, но на днях внезапно заболел. «Чем же?» — спрашиваешь ты. И вопрос твой не излишен, так как ни одна болезнь не осталась мне неизвестна. Но я как будто обречен на страдания преимущественно от этой болезни, которую мне не хочется, впрочем, называть ее греческим именем. Она достаточно точно определяется словом «удушье». Припадки ее коротки, но подобны бурям. Они длятся не более часа. И кто бы мог дольше задыхаться? Я испытал многие телесные недуги и боли; но ни одна не была для меня так тяжела, как эта. Ибо всякая другая боль — болезнь, а эта — агония. Недаром врачи называют ее подобием смерти. Душа, наверное, когда-нибудь отлетит во время этих припадков, как постоянно порывается сделать это.

Ты думаешь, что я рассуждаю теперь так спокойно, потому что болезнь прошла. Было бы так же неосновательно считать прекращение ее за выздоровление, как за выигрыш процесса — отсрочку судебного разбирательства. Но, даже задыхаясь, я старался успокоить себя веселыми и бодрыми размышлениями. «Что случилось? — говорил я себе. — Смерть испытывает меня. Пускай себе. И я долго испытывал ее».

Ты спросишь, может быть, когда это я испытывал смерть? Еще до своего рождения. Ведь смерть — это небытие. Каково оно — я уже знаю. После меня будет то же, что было раньше меня. Если в смерти есть какая-либо мука, очевидно, она была уже раньше, чем мы явились на свет. Но тогда мы не чувствовали никаких страданий. Воспользуюсь следующим сравнением. Не нелепо ли думать, что светильнику хуже после того, как его погасят, чем до того, как его зажгут? Мы тоже зажигаемся и гаснем. В этот промежуток времени мы испытываем некоторое страдание. Вне его, по обе стороны, должен быть полный покой. Мне кажется, о Луцилий, что наша ошибка в том, что мы думаем, будто смерть только следует за жизнью, тогда как она и предшествовала ей, и последует за нею. Все, что было до нас, — смерть. Так не все ли равно, не начинать вовсе или перестать, если результат один и тот же — небытие?

Такого рода увещаниями, конечно мысленными, потому что говорить я был не в силах, я не переставал себя успокаивать. Между тем мало-помалу удушье успевало перейти в одышку, начинало повторяться через большие промежутки времени, затем одышка уменьшалась и, наконец, совсем проходила. Но и до сих пор, хотя болезнь прошла, дыхание не пришло еще в полный порядок; я чувствую в нем некоторое затруднение и задержку. Впрочем, и то хорошо,

лишь бы мои вздохи не тревожили души. Итак, знай теперь, что я бестрепетно встречу последний час: я уже приготовлен к нему и не думаю о смерти. Ты же подражай тому, кому не жаль умереть, хотя отраднее было жить. Есть известная доля доблести и в том, чтобы уйти, когда гонят. Надо только делать вид, как будто уходишь добровольно. Мудреца же совсем нельзя прогнать, ибо быть выгнанным — значит быть насильно, против желания, удаленным откуда-нибудь. А мудрец ничего не делает против своей воли. Он избегает принуждения тем, что сам желает того, к чему принуждает его необходимость.



Письмо LVI. О НЕПРИЯТНЫХ ЗВУКАХ

Я погиб бы, если бы для человека, углубленного в занятия, молчание было в самом деле так необходимо, как это кажется на первый взгляд. Я живу как раз возле бани, и в настоящую минуту вокруг меня раздаются всевозможные звуки. Представь себе звуки всякого рода, способные, каждый, заставить ненавидеть самый орган слуха. Тут и шум, производимый занимающимися гимнастикой, и звуки швыряния тяжелого свинцового шара, и кряхтение работающих, или, вернее, изображающих из себя работников; мне слышно, как они тяжело дышат, задерживают

дыхание и выпускают затем хриплые, тяжелые вздохи. Мне слышно хлопанье жирной руки по плечу умащающихся маслом, причем по роду звука я могу различить, как ударяют – раскрытой или согнутой ладонью; до меня доносится треск мяча, ударяющего в поставленные, как цель, столбы. Порой раздаются визг и крики пойманного вора. Прибавь к этому тех, кому нравятся звуки собственного голоса, раздающегося в бане, наконец, тех, которые прыгают в бассейн, с великим шумом и плеском разбрызгивая воду. Кроме этих людей, у которых, по крайней мере, хоть человеческие голоса, представь себе еще визгливый и тонкий голос цирюльника, который, желая обратить на себя внимание, пронзительно кричит и не умолкает до тех пор, пока кто-нибудь не поручит ему выдергивать волосы, и тогда он заставляет кричать за себя другого. Затем различные крики продавцов фруктов, пряников, мяса и других разносчиков, предлагающих свои товары, выкрикивая их на различные голоса. «О, – воскликнешь ты, – ты или из железа, или глух, если рассудок твой не помутился среди столь разнообразных и неблагозвучных криков, тогда как стойка Хризиппа довели до смерти одни непрерывные приветствия». Клянусь, меня этот шум беспокоит не больше, чем журчание текущей воды, хотя, как известно, один народ перенес свой город на другое место только из-за того, что

не мог переносить шума, производимого течением Нила. Звуки голоса, впрочем, раздражают больше, чем неопределенный шум. Первые развлекают мысль, второй же только тревожит слух. Когда я занимаюсь, мне нисколько не мешает грохот катящихся экипажей, стук поселившегося по соседству плотника или кузнеца, или даже фабриканта музыкальных инструментов, настраивающего свои трубы и флейты возле фонтана, если только он не играет, но лишь перебирает отдельные ноты. Звуки, прерывающиеся через известные промежутки времени, для меня неприятнее тех, которые длятся непрерывно. Но я настолько привык и к ним, что могу равнодушно переносить даже резкий голос управляющего лодкой, подающего такт гребцам. Я принуждаю свой ум оставаться сосредоточенным, не отвлекаясь никакими внешними явлениями. Пусть снаружи раздаются всевозможные звуки, лишь бы в душе не было никакой тревоги, лишь бы в ней не бушевали страсти или страх, и не явились во взаимной вражде скупость и расточительность. Что пользы в молчании окружающего мира, если в душе бушуют страсти. Неправду сказал поэт, будто

Тихая ночь приносит с собою спокойствие миру.

Спокойствие достигается только рассудком. Ночь возбуждает тревоги, а не устраняет их, и только изменяет род беспокойства. Часы

бессонницы так же бурны, как и дневные. Только такое спокойствие прочно, которое обусловлено совестью. Посмотри на человека, для сна которого необходима тишина целого большого дома. Чтобы ни единый звук не достигал его слуха, вся толпа рабов смолкает, пока он спит, и ходит вокруг него на цыпочках; и разве он все-таки не мечется во сне и туда и сюда, засыпая больным, слабым, чутким сном? Порой он жалуется, что слышал звуки, которых на самом деле не мог слышать. Что за причина этого, по-твоему? Дух его беспокоен. Надо его успокоить, надо укротить его мятежность. Нельзя назвать покоящимся человека только оттого, что тело его лежит. Самый покой может быть беспокоен.

Всякий раз, как овладеет нами тягостное чувство вялости, следует стараться приняться за дело или заняться искусствами. Опытные полководцы, замечая, что солдаты плохо повинуются им, задавали им какие-либо работы или предпринимали походы. Таким образом, у солдат не оставалось времени на пустые мысли, а известно, что пороки праздности всего лучше искореняются с помощью труда. Мы часто видим, что общественные деятели удаляются от дел, почувствовав отвращение к занятиям и досаду на свои неудачи; но в уединении, в которое забросит их уныние и усталость, снова разгорается их честолюбие.

И это потому, что оно и раньше не исчезало, но было лишь притуплено и подавлено неблагоприятным положением дел. То же надо сказать и о невоздержности, которая иногда как будто и ослабевает, но потом снова волнует человека, ведущего уже умеренную жизнь, и среди полного благоразумия воскресают оставленные, но не осужденные страсти, и притом с тем большею силою, чем более их скрывали. Ибо все пороки ослабевают, когда обнаружатся; так и болезни, клонясь к выздоровлению, выступают наружу и проявляют всю свою силу. Так же точно и скупость, и честолюбие и другие душевные пороки тем опаснее, чем более душа, зараженная ими, похожа с виду на здоровую.

Иногда, по виду, мы отдыхаем, но этого нет на самом деле. Ибо если бы совесть наша была спокойна и если бы мы действительно ушли от жизни, презрев прельщения страстей, то, как я сказал уже раньше, ничто бы не развлекало нас, никакие голоса, ни птичьи, ни человеческие не могли бы помешать нашим серьезным и глубоким размышлениям. Нельзя назвать сосредоточенным того человека, который готов прислушиваться к посторонним голосам и случайным звукам. Значит, внутри его есть еще скрытое беспокойство и частица страха, делающая его любопытным. Вергилий говорит в одном месте:

*Прежде мой дух смутить не могло никакое оружие,
Ни стоявшее против враждебное воинство Грайев.
Ныне же в трепет меня повергает ничтожнейший
шорох, –
Столь я боюсь за того, с кем иду, и за то, что несу я.*

В первых стихах мы видим мудреца, которого не устрашает ни звон оружия, ни сражающиеся друг против друга густые ряды войск, ни треск рушащихся стен осажденного города. В последних — перед нами слабый ум, который боится за свое имущество и пугается малейшего шороха: малейший звук он принимает за стон и дрожит, и легчайшее движение вызывает в нем трепет. Он стал боязливым из-за своего бремени. И всякий из числа тех считаемых счастливыми людей, которые много несут с собою и много тащат за собою, как ты легко можешь в том убедиться, боится за того, с кем идет, и за то, что несет он.

Считай за признак полного развития, если тебя не будет смущать никакой шум, не будут волновать никакие голоса, слышатся ли в них льстивые слова или угрозы, или просто пустые звуки. Но, сознаюсь, из этого еще не следует, чтобы не было удобнее избегать шума. Потому и я уеду из этого места. Я хотел только испытать себя. Нет никакой необходимости дольше терзать свой слух, когда еще Одиссей, оберегая своих спутников, придумал прекрасное и простое средство — даже против сирен.



Письмо LXIII. НЕ СЛЕДУЕТ СЛИШКОМ ОПЛАКИВАТЬ УТРАТЫ

Мне грустно, что умер твой друг Флакк, но я не хочу, чтобы ты слишком предавался горю. Я не смею требовать, чтобы ты совсем не горевал, хотя знаю, что последнее было бы всего лучше. В самом деле, такая твердость духа присуща человеку, возвысившемуся над самую судьбою. Утрата друга огорчила бы его, но и только. Нам же простительны слезы, если только они текут не слишком обильно и если мы сами стараемся их унять. Не следует встречать весть о смерти друга с сухими глазами, но не следует и разливаться в слезах. Можно поплакать, но не надо громко рыдать. Тебе кажется, что я требую от тебя чрезмерной суровости, а между тем величайший из греческих поэтов ограничил срок оплакивания всего одним днем, заставив Ниобею думать о еде в тот же день, в который она потеряла своих детей. Ты спросишь, зачем же тогда люди причитают и неуместно оплакивают покойников? В слезах мы ищем доказательства горя и не столько следуем влечению скорби, сколько показываем ее другим. Никто не плачет, оставшись один. Как это ни глупо, однако есть доля тщеславия в самой скорби. «Неужели же, — возражаешь

ты, — я должен забыть своего друга?» Коротка же твоя память, если она не переживет скорби, ведь ты уже теперь способен смеяться сквозь слезы всякому пустяку. Не говорю уже о том, что будет позже, когда скорбь смягчится и тяжелые припадки тоски прекратятся. Едва ты перестаешь следить за собою, печальное выражение сходит с твоего лица. Ты сам стережешь свою печаль. Но, несмотря на твою бдительность, скорбь прекратится и притом тем скорее, чем была острее.

Будем поступать так, чтобы нам было приятно воспоминание об утраченных друзьях. Ведь никто не вспоминает охотно того, о чем не может думать без огорчения. Конечно, неизбежно испытывать горечь утраты при воспоминании о тех, кого мы любили; но в самой горечи этой есть известного рода наслаждение. Стоик Аттал говорил: «Память об усопших друзьях так же приятна, как бывает приятна некоторая доля кислоты в яблоках или терпкость очень старого вина. Когда же пройдет некоторое время, то все, что заставляло нас страдать, исчезнет и останется одно беспримесное наслаждение». Далее он продолжает: «Память о живых друзьях подобна меду или прянику; память об усопших приятна нам, хотя и содержит в себе некоторую горечь. Но кто станет отрицать, что порой и острое и даже терпкое способно возбуждать аппетит?» Я не согласен

с Атталом. По-моему, размышления об усопших друзьях приятны и сладки. Когда они были живы, я знал, что потеряю их; когда же я их потерял, я вспоминаю, что все-таки имел их. Итак, о Луцилий, будь благоразумен и перестань ложно толковать благодеяния судьбы. Она отняла, но она же ведь и дала.

Мы оттого так жадно пользуемся обществом друзей, что не знаем, как долго можно будет им пользоваться. Припомним, как часто мы покидали их, отправляясь в какое-нибудь дальнейшее путешествие, как часто не видались с ними, живя в одном месте, — и мы поймем, что мы гораздо больше не пользовались их обществом при их жизни. Подумай также о тех людях, которые дурно обращаются с друзьями, а затем предаются глубочайшей скорби и начинают любить только тогда, когда потеряют. Конечно, они тем неудержнее предаются печали, что боятся, как бы не возникло сомнения в том, действительно ли они любили? В слезах они ищут запоздалого доказательства своих чувств.

Если у нас есть другие друзья, то мы слишком низко их ценим, если думаем, что они ничего не значат при утрате одного из них. Если у нас нет больше друзей, то, значит, мы сами причинили себе гораздо больше вреда, чем причинила его нам судьба. Судьба отняла у нас только одного друга, а мы не сделали себе ни одного. Наконец, человек, у которого любви хватило